

Я, мой муж и наши два отечества



Эльвира Филипович

Эльвира Филипович

Я, мой муж и наши два отечества

«Издательские решения»

Филипович Э.

Я, мой муж и наши два отечества / Э. Филипович —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-516014-0

Эта книга о жизни чешско-русской семьи, живущей попеременно в России и в Чехии, с экскурсом в далекое прошлое их предков — аристократов и крепостных, учителей, адвокатов и мастеровых... Предки каждого из супругов — участники бурных событий — войн и революций конца XIX и начала XX веков. Главные герои книги (автор и ее муж) — граждане России и Чехии — после окончания Тимирязевской академии в Москве работают сельхозспециалистами в Северном пограничье Чехии, а затем на алтайской целине...

ISBN 978-5-00-516014-0

© Филипович Э.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие Олега Ефимова	6
КНИГА ПЕРВАЯ	9
Вместо предисловия	10
Глава 1. МОИ ПРА... В ПРОШЛОМ И ПОЗАПРОШЛОМ ВЕКАХ	11
Челноки – Доброхотовы	20
Генеральская дочка Надежда Петровская и Надворный советник с жалованным дворянством Петр Доброхотов становятся моими пра...	25
Дом на улице Баранова Гора (позже Красная Гора) в Калуге	28
Доброхотовы в предреволюционные годы	33
Константин Эдуардович Циолковский и семья Доброхотовых	41
«Зрит ли Он?»	43
Мои бабушка и дедушка	44
Первая мировая и гражданская войны – долгие годы разлуки	49
Семейная трагедия и железная воля хрупкой Манечки	52
Глава 2. МОИ ДЕТСТВО И ПОДРОСТКОВЫЕ ГОДЫ	54
Деревянный домик и огромный двор с высоченными соснами в Покровском-Стрешневе	54
В гостях у моего замечательного дедушки	58
Романтика «Войны-метелицы» и мрак подлинной войны-убийцы	66
Под Сталинградом	67
Война стала нашим бытом	71
Сталинград победил	72
Мои первые трудовни. Голод...	73
В Донбасс через Сталинградское поле	79
В Алчевске	83
Мариупольские руины и рынок, ордер на комнату. Семиряга.	85
Третий раз в третий класс	
Кончилась война	87
Американские подарки – коробки со сладким мясом	89
Кормились морем, согревались потихоньку взятыми со стройки деревяшками и предназначенным заводу «Азовсталь» антрацитом	90
Не умру я!	91
Украинское село Покровское, украинская школа	93
Первые грезы любви	98
Я и Жан	104
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Я, мой муж и наши два отечества

Эльвира Филипович

Корректор Наталья Алексеевна Богомолова

Дизайнер обложки Алексей Кулаков

Фотограф Эльвира Филипович

© Эльвира Филипович, 2020

© Алексей Кулаков, дизайн обложки, 2020

© Эльвира Филипович, фотографии, 2020

ISBN 978-5-0051-6014-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие Олега Ефимова О Первой книге трилогии Эльвиры (в крещении Елены) Филипович «Я, мой муж и наши два Отечества»

*Ответственный секретарь Межфракционной депутатской
группы Государственной Думы ФС РФ в защиту христианских
ценностей, член Союза писателей России
Олег Ефимов*

Это история семьи, члены которой – автор книги и ее муж – граждане двух славянских государств, России и Чехословакии, позже Чехии. Оба – патриоты своих стран. В то же время для каждого из них родина супруга (для автора – Чехословакия, для ее мужа – Россия) является их вторым Отечеством. Также и для детей их, а потом и внуков обе эти страны – родные. Поэтому и важные события, происходящие в каждой из стран, будь то освоение целины, первые полеты в космос или попытка построить социализм с человеческим лицом, а затем вторжение армий стран Варшавского договора с «братской помощью» маленькой Чехословакии, одинаково остро воспринимаются всеми членами этой русско-чешской семьи.

Повествование ведется с экскурсом в прошлое родителей и далеких пра- и пра-пра-обоих супругов. Рассказывается о жизни в разные исторические времена. Например, первая половина XIX века: крепостной мальчик Ваня Челнок, выкупленный из крепостничества за свою огромную тягу к знаниям и добрую охоту поделиться этими знаниями с другими, обрел фамилию вместо деревенской клички, став родоначальником хорошо известной в Калуге семьи Доброхотовых и пра-прадедом автора этой книги.

Или вот: русско-турецкая война 1877—1878 гг. и активное участие в ней полкового врача армии Скобелева, поляка Владимира Мариана Филиповича, прадеда автора.

Первая мировая война и солдат австро-венгерской армии, а затем чехословацкий легионер, участвовавший в образовании демократической республики Чехословакии во главе с ее замечательным первым президентом Т. Г. Масариком и главой русофильского правительства Карелом Крамаржем... Это – Фердинанд Птак, дед мужа автора.

И кровавые трагедийные годы 1937—1938. На Бутовском полигоне расстрелян «враг народа» – профессор лесохимии, создатель первого в России канифольного завода и автор технологии получения осветленной канифоли Иосиф Владимирович Филипович, дедушка автора книги. Именем его названа улица в поселке Вахтан Горьковской области, где был построен завод.

Вторая мировая война и семья жителей Праги Птаков – отца, матери и их сына-подростка Иво, будущего мужа автора, – активных участников Сопротивления.

А в России – Великая Отечественная война, и в семье Филипович – тяжело раненый отец Эльвиры, моряк, штурман дальнего плавания Смирнов Григорий Иванович... И погибший доброволец московского ополчения, аспирант-химик, дядя автора Владислав Филипович, а также умерший от истощения в младенческом возрасте на оккупированной немцами территории, в Калуге, сын Владислава Лев.

Военное детство девочки Эли Филипович: бомбежки в Покровском-Стрешневе (Москва), а затем жизнь вблизи фронта, полная опасности и лишений, в деревне Соколовка под Сталинградом...

Наконец, долгий путь в переполненном товарном вагоне через сплошь загроможденное покореженной техникой огромное Сталинградское поле с черными руинами Сталинграда на самом его восточном горизонте.

Мать Мария Филипович, начальник геологоразведочной партии, вернувшись в 1944 году с Урала, везет свою семью (мать и дочку Элю, которые в самые страшные дни битвы за Сталинград оказались от нее, срочно командированной на Урал, отрезанными) на новое место пребывания геологической экспедиции, посланной на восстановление Донбасса. Города Дебальцево, Алчевск, Горловка, Мариуполь сменяли один другой, и наконец протянувшееся на много километров вдоль речки Горелый пенё село Покровское, где бабушка попросила более не мотать по экспедициям школьницу Эльвиру и оставить ее с ней в Покровском до окончания школы. А до этого бесконечные переезды и частые, порой три раза в один учебный год смены школ. Только в Мариуполе семья задержалась почти на два года. Именно там находилась Эльвира, когда кончилась война.

Будущий муж ее, Иво, был тогда в Праге. Четырнадцатилетним подростком он участвовал в знаменитом Пражском восстании.

А потом оба учились: Эльвира оканчивала десятилетку в украинской школе села Покровское в Донбассе, а Иво – хмелеводческий техникум, а затем первый курс агрономического факультета сельхозинститута в Праге. Встретились они на первом курсе зоотехнического факультета Тимирязевской сельскохозяйственной академии.

«Любовь пылает – комсомол бдит». Есть такой подзаголовок в этой книге. Любовь к иностранцу была тогда (1952 год) под строгим запретом, и влюбленные готовы были заразиться проказой, чтобы только остаться вместе, хоть и в лепрозории...

Молодые поженились сразу же, как только браки с иностранцами были разрешены. После Тимирязевки поехали в Чехию. Там работали зоотехниками в Северном пограничье, а после, тоже всей семьей (дочке тогда было пять лет) отправились на три года на целину в Алтайский край «строить коммунизм». Не буду здесь описывать, как встретили приехавшую из Праги в совхоз Табуны молодую семью с маленьким ребенком, какие приключения ожидали их в алтайской глубинке...

Между прочим, их приезд на целину в Алтайском крае помнят до сих пор, и в 2019 году в связи с 90-летним юбилеем замечательного писателя Василия Шукшина вспомнили и о Э. Г. Филипович, пославшей в 1964 году рассказ на конкурс «Алтайской правды», получивший первую премию газеты и отмеченный Шукшиным. Сообщение об этом, опубликованное в августе 2019 года в «Алтайской правде» под заголовком «Из Праги в Табуны», как и сам рассказ Эльвиры Филипович «У нас в Степном», есть в приложении к этой книге.

А семья по истечении трех целинных лет отправилась в Москву в надежде продлить на три года пребывание в СССР, чтобы осуществить еще одну свою мечту: поступить в аспирантуру Всесоюзного института животноводства. Приездом в подмосковные Дубровицы, знакомством с превращенным в склад стройматериалов, но потрясающе красивым Дубровицким храмом заканчивается первая книга трилогии.

Это основная схема книги, «голый» остов ее, или скелет, который по мере знакомства с этим произведением обретает мускулы, жизненную силу, становится живым и зримым. За судьбами отдельных людей чувствуется эпоха: история жизни семьи и родственников как в России, так и в Чехии ведется на фоне событий, происходивших в обоих наших государствах, России и Чехословакии.

Эльвира, в крещении Елена, Филипович была с раннего детства глубоко верующей, поэтому в книге Господь присутствует всегда, зримо и незримо. Искренняя молитва ко Господу спасает ее от изгнания из института и становится источником сил для поддержания всегдашнего оптимизма. Для нее и работа на целине с целью скорейшего приближения комму-

низма – обещанного справедливейшего для всех людей строя на земле – была по сути своей служением Всевышнему.

На протяжении всего повествования чувствуется главная жизненная установка автора, как и главная мысль самой книги: только любовь, честность и справедливость в отношениях между людьми в семье, в государстве, в межгосударственных отношениях позволят людям по-настоящему быть счастливыми.

Книга, как и все произведения автора, написана образным русским языком и легко читается.

Книга будет интересна и полезна для всех возрастов, и особенно для молодежи.

КНИГА ПЕРВАЯ

Вместо предисловия семейное предание

Когда мне было четыре года, я удивилась словам взрослых: «Аля еще совсем ребенок, а для того чтобы это понять, надо пожить на свете...» А я разве не жила? Я жила долго-долго, все время... Я помнила скалистую гору на берегу огромного озера, помнила проход в узкое ущелье и там, за хрусткими кустами, высланную мягкими шкурами неглубокую нору в пещере. А еще раньше я помнила, как умела ходить и бегать прямо по воздуху. Да, именно ходить и бегать над землею. Двигались ноги и руки. Быстро-быстро. Но потом я как бы повисала в воздухе и с высоты смотрела на землю, на чудной красоты малинового цвета сосновый бор, огромное солнце на горизонте и далекую бело-розовую гору на фоне белесого неба. Должно быть, именно эта гора была моим пристанищем. Но это было так давно... А что потом? Ведь с тех пор прошли века, а может быть, и тысячелетия... Однако из того, что было во времена, более близкие к моему теперешнему рождению, я не помнила ничего. Но зато сохранились семейные предания, даже записи...

«Юная цыганка из Сербии славилась по всей стране как непревзойденная танцовщица. Когда она появлялась на подмостках, маленькая и тонкая, словно готовая вот-вот переломиться тростинка, публика удивленно замирала: неужели эта угластая худышка – знаменитость? Но стоило музыкантам припасть к своим инструментам, извлекая несущиеся кверху волны мелодий, маленькая плясунья преображалась, вырастала в неотразимую красавицу. Движения танца сливались с трепетными, вихревыми звуками музыки, захватывая всех. И уже не различить было ни лица, ни фигуры танцовщицы, а было ощущение полной гармонии, силы и красоты, огромной радости бытия. А когда замолкали звуки танца, всем становилась видна дивная красота цыганской девы. Мужчины – все – буквально сходили с ума от неутоленной страсти к бедной прекрасной цыганке. А труппа, в которой была эта дива, между тем отправилась в Англию. И там страстные цыганские танцы лицезрел сам принц, королевский наследник. Впервые Мэри – так называли в Англии непревзойденную танцовщицу – отдала свое сердце мужчине. Родила голубоглазого сына. Но женою принца не стала, не позволили английские законы.

В Сербии, куда вернулась прекрасная танцовщица Мария, ее полюбил и взял в жены богатый человек, коннозаводчик Йозеф Филипович, дав свою фамилию и свое имя рожденному королевских кровей младенцу».

Так рассказывал о далеких предках нашего рода мой дедушка, тоже Иосиф Филипович. С тех давних пор имена Мария и Иосиф стали в нашем роду любимыми и переходили из поколения в поколение. Прабабушка Мария Иосифовна Филипович, и точно такие имя, отчество, фамилия были у моей Мамы, геолога и поэта... И тем же именем – Мария – названы мои Бабушка, Мария Петровна Филипович, и внучка Машенька – музыкант.

Глава 1. МОИ ПРА... В ПРОШЛОМ И ПОЗАПРОШЛОМ ВЕКАХ

*Гонор, нищета и уроки жизни – юная красавица прабабушка
Мария и знаменитый одесский врач прадедушка Владимир Мариан*

Прабабушку Марию Филипович я помню по фотографиям и рассказам Мамы и Бабушки. Родилась она в Варшаве в обедневшей аристократической семье. Это был старинный род польских шляхтичей Филиповичей (любителей лошадей), записанных в Шестой книге, в которой только высшая знать. У предков ее было когда-то богатое имение близ Варшавы и роскошный дом в польской столице. А потом разом все пошло прахом, продали за долги, а сами – вдова-мать с четырьмя дочками – подались туда, где полно женихов, в Одессу. Мария (прабабушка моя) помнила себя тринадцатилетней. К тому времени от благолепия прежнего лишь польский аристократический гонор остался. В семье почитались только люди их круга, родословные которых в Шестой книге записаны. А все остальные – так себе, смерды жалкие. Можно к ним снисходить, но никак не опускаться до их уровня. А самые презренные – это, мол, евреи, от которых «все зло», которые продались дьяволу и торгуют золотом, и губят души честных христиан, опустошая при этом их кошельки. Слыша такое, тринадцатилетняя моя прабабушка, девочка с ангельским личиком и независимым характером, решила наказать «лиходеев», взяла в руки дрын и давай им лупить по окнам дома, где проживала одна из самых богатых еврейских семей в Одессе. Никогда не могла забыть Мария, как мать ее стояла перед «презренными» на коленях, моля их не подавать в суд. А потом ее, девчоночку, надолго заперли в темный чулан, чтобы осознала: бить можно только бедных евреев, что, мол, уж лучше бы она с этим дрыном пошла к Айзманам, голодным и вшивым, у которых в доме только дети в лохмотьях да старая скрипка с ободранными струнами. Тогда, в крошечной темени чулана, у прародительницы моей мозги прочистились: этих бедных, голодных, которых можно было бить, она жалела, носила угощение с кухни и даже потихоньку с ними дружила. Очень смыслеными в играх, мудрыми в жизни казались ей эти детишки. Да и не было в той семье никакого золота: никого не обездолили они. За что же их бить? Марии в холодном чулане было жарко; сгорала от стыда за свою мать, которую горячо любила, за здоровье которой каждое утро – вечер молила Бога. Из чулана вышла строго задумчивой, осознала всю абсурдность шляхетской спеси и отвратительность любого национализма.



Мария Иосифовна Филипович (Бабуня), 16-летняя

Ей, глубоко верящей в единого Бога Отца Вседержителя и сына – Спасителя, вдруг открылось гольем настоящее. А воображение дорисовало картину: мать ее оказалась вдруг сродни толпе, избивающей Христа, несущего тяжеленный крест, а эти в серых лохмотьях детишки, которых разрешалось бить, этих ангелов божьих толпа злых людей теснила к обочине, гнала прочь. Поняла Мария родительницу свою, однако простила, как простил когда-то своих истязателей Иисус, и оставалась кроткой по отношению к матери и всегда сердечной ко всем гонимым.



Снежные траншеи. Русско-турецкая война, 1877—1878.
Василий Васильевич Верещагин (1842—1904)

А через три года в дом явился богатый жених, Владимир Мариан Филипович, знаменитый на всю Одессу врач, бывший военный хирург царской армии, участник русско-турецкой

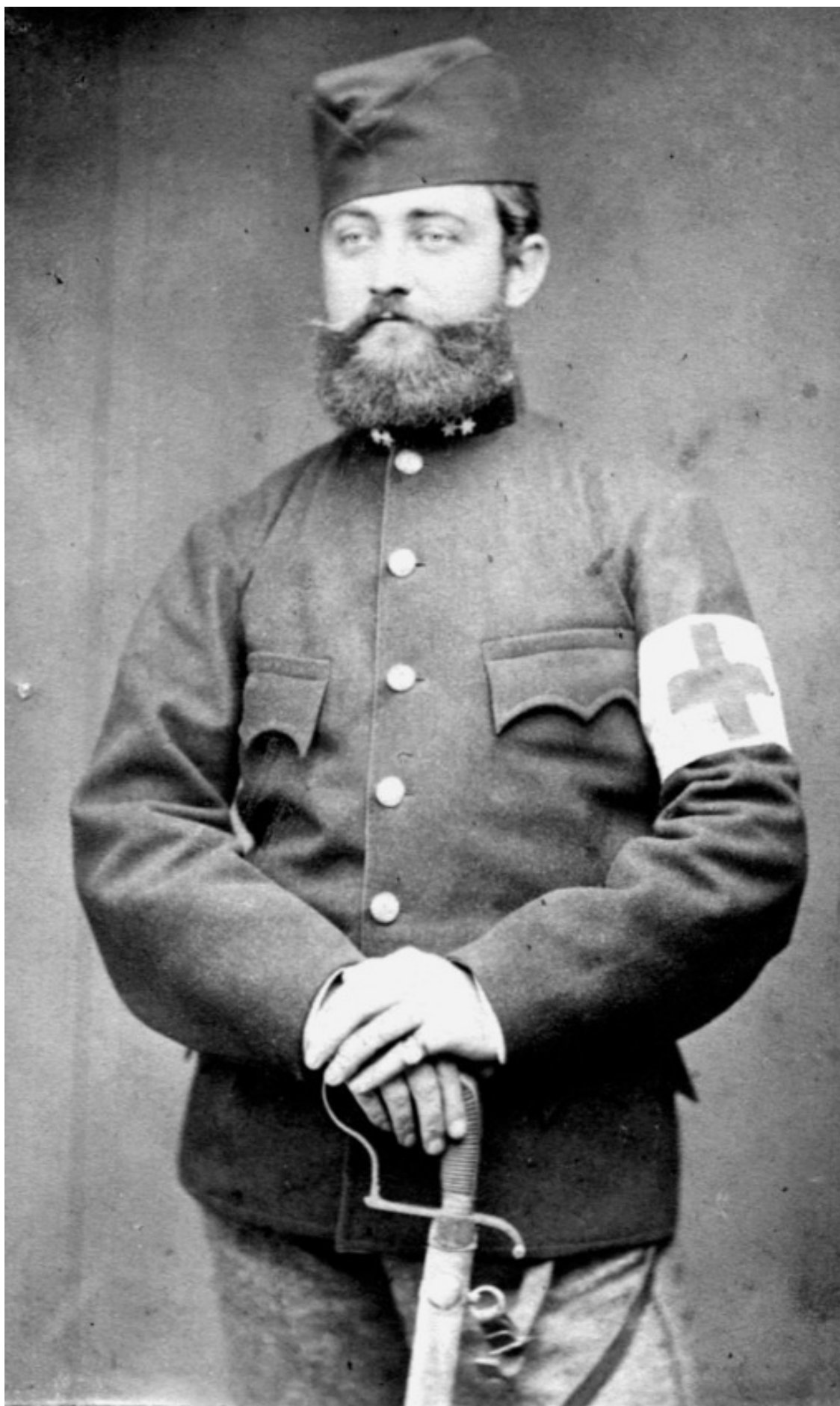
войны за освобождение Болгарии от османского ига. Статная голубоглазая красавица с тяжелой русой косой глянулась сорокалетнему холостяку. И девушка снова увидела мать свою на коленях. Теперь уже молила ее, Марию, не отказывать такому богатому и знаменитому жениху, да еще и с той же фамилией, хотя и не из Шестой книги... Замужеством с ним она спасет своих старших сестер, они смогут бывать на балах, словить женихов, а так – никакого про света. Мария всегда готова была жертвовать собой. К тому же ее очаровали его повествования о собственной жизни, полной разных значимых событий и приключений: ведь лет за восемь до их знакомства Владимир Мариан, тогда еще молодой, служил врачом в славной армии генерал-лейтенанта М. Д. Скобелева. Участвовал в боях под Плевной и затем на Шипкинском перевале. С огромным вниманием слушала юная дева его рассказы о стойкости и великом мужестве российских солдат и офицеров, стоявших насмерть на легендарной Орлиной скале Шипкинского горного хребта, и о храбрых героях, которые в зимнюю стужу и под огнем противника одолели этот «неприступный, этот непреодолимый» легендарный Шипкинский перевал...



Владимир Мариан, студент Киевского университета



Владимир Мариан Филипович в армии Скобелева, 1877 г.



Владимир Мариан – полковой врач армии Скобелева, участник боев под Плевной, 1878 г.

И Мария дала согласие, вышла замуж...

Муж ее, Владимир, очень гордился красотой юной своей жены. А она еще и рукодельницей была, и кулинаром отличным. Ее пироги всегда отличались изысканностью и несли какой-нибудь сюрприз. Она никогда не готовила строго по рецепту, а всегда привносила свое. И писала стихи. Но об этом ее занятии муж, кажется, и не догадывался. И еще любила удивлять. Как-то в дом ожидали к обеду самого губернатора. Слуги накрывали богатый стол, ставили хрусталь, а хозяйка в это время, начернив лицо сажей, с метлой в руках полезла на крышу. Муж подъезжает к дому в карете вместе с именитым гостем. Хочет жену – сущего ангела – показать. Глядь, а на крыше его особняка ведьма выплясывает с метлой. Только по волосам (золотом по всей спине) и узнал жену...

Слуги, выбежавшие из дома, чтобы встретить гостей, застыли в оцепенении, увидав на крыше «ведьму», а хозяин дома, почитаемый в Одессе доктор Владимир Мариан, не растерялся и перед гостем поаплодировал своей жене за ее «остроумную шутку». Важному гостю ничего не оставалось, как поаплодировать тоже. К столу юная красавица-хозяйка явилась в отличном расположении духа и в лучшем своем платье – подарке дорогого супруга Владимира. Пировали на славу...



Мария Иосифовна с двумя сыновьями, старшим Иосифом (справа) и Леоном (слева), 1885г.

А потом дети родились. Сначала жизнерадостный, деятельный Иосиф, мой дедушка, потом Леон, задумчивый и добрый. Оба не то что любили – обожали мать. А больше и не было детей, потому что Мария оставила своего чересчур серьезного, положительного мужа и нестерпимо скучную жизнь, где все делали и даже думали за нее. При разводе поделили детей. Ей оставили младшего, Леопа, а со старшим даже видеться не велели. Потом, уже после революции 1917 года, в Москве оба сына были с нею. (Приложения 1 и 1а)

Молодой химик Иосиф Филипович и юная выпускница Николаевского института благородных сиротских девиц Мария Доброхотова

Мой дедушка Иосиф был очень жизнелюбив и, еще будучи гимназистом, постоянно влюблялся в хорошеньких девиц. А потом, узнав, что от любовной связи с очень красивой студенткой будет дитя, жил с нею гражданским браком. Студентка, однако, оказалась девушкой с весьма независимым характером и с революционными связями, не позволявшими ей погрязнуть в «семейном болоте»... Дело революции для нее было важнее всего, и она, революционерка, переехала в Париж, где родился первый сын Иосифа, мой старший дядя Борис Иосифович, которого в дальнейшем воспитывали в основном его отец и жена отца, то есть моя бабушка... А Леон был однолюб, всю жизнь любил только одну Эльвиру – шведку, которая погибла перед самой их свадьбой.



Иосиф и Леон студенты-химики

А в 1938—1939 годах братья оба сгинули в чекистских застенках, успев, слава Богу, похоронить на Ваганьковском кладбище свою нежно любимую матушку. Бабуня (прабабушка моя) писала стихи, вела дневник. Но все это в молодости. А потом, как сама горько признавалась, поэзию сменила на выпечку тортов да пирогов. Заклинала мою маму, а она уже девочкой писала стихи, никогда не предавать поэзию.

Когда познакомился Иосиф Филипович с моей бабушкой, девицей Марией Петровной Доброхотовой, ему было уже далеко за двадцать. Мария Доброхотова в то время оканчивала в Москве Институт благородных сиротских девиц и готовилась стать гувернанткой. В Москву она приехала из Калуги, где жила многодетная семья Доброхотовых, потерявшая кормильца своего, любимого народом адвоката и судью Петра Ивановича Доброхотова

В родословной почитаемого судьи было написано о его заслугах, отмеченных жалованными наградами и личным дворянством, с упоминанием о крепостном происхождении его отца и мордовских корнях...

Челноки – Доброхотовы

В мордовской семье Челноков, где появился на свет (в первые годы XIX века) будущий мой прапрадед, мальчик Иван, умели трудиться. Быстрые, ловкие, выносливые, они работали как на барских полях и конюшнях, так и в своем огороде, хлеву, избе, полной ребятни... И везде поспевали. За то и прозывали их – Челноки.

Семья жила в бревенчатой избе-пятистенке на берегу речки Инсарки близ живописного старинного, основанного в 1647 году мордовского города Инсар. В городе было несколько церквей. Ваня бегал в самую старинную, храм Казанской иконы Божией Матери. При церкви была приходская школа, где учили не только грамоте и Закону Божию, но и наукам математическим. Ваню Челнока в школе считали очень способным учеником.



Соборный храм во имя Казанской Божией Матери с приделом церкви во имя Николая Чудотворца, г. Инсар, Мордовия, конец XIX в. (Ныне на этом месте расположен цех завода «НЕОН»)

Однажды учитель этой школы, он же батюшка в церкви, услышал от местного помещика своего же прихода сетования на любимого и единственного сына: совсем плох в учении, а выписанный для занятий мусье говорит, что все в порядке. И верно, барское чадо замечательно освоило фехтование, танцы, манеры... Может на французском языке изъясняться. А вот от математики с физикой у мальчика разбалчивается голова...

– Гнать этого мусье надо, да только где у нас другого учителя найдешь?

– Есть у меня мальчишка на примете, Ванька Челнок. Бегаёт в школу ко мне из самой слободы. Удивительно понятливый мальчонок, до всякой работы и до учения охочий. Псалтирь всю наизусть шпарит. И добрый. Сам слышал, как он иной раз объясняет ребятам непонятное.

Оживился барин при сих словах, да батюшка его и осадил: крепостной он, а так бы...

Пришлось барину за Ваньку Челнока хлопотать, выкуп заплатить его хозяину. Понравился Иван не только барину своему новому, но и привередливому сыну его Михаилу. И хоть выглядел новый наставник барского дитяти совсем неказисто – был невелик ростом, худощав и на фоне рослого упитанного барчонка еще худосочнее казался, чем был на самом деле, – хозяйский сын почти разом его признал, а потом и зауважал: видимо, дошло до него, что в мире по-настоящему ценно и по-настоящему красиво. А в математике видел Иван красоту особую...

Так проходили дни, и недели, и месяцы. И однажды Иван Челнок явился к новому хозяину своему с докладом. Хотя тот его не вызывал, да и Ваня волен был о себе решать без барской указки. Однако, сам же он тогда про себя решил: «жить с Богом, то есть по совести!»

– Больше не хочу я хлеб Ваш переводить, – сказал он хозяину, – все, что мог, я Михаилу передал. А дальше – ему в гимназию надо, к профессорам, а потом и в университет...

Приемные экзамены в Пензенскую гимназию Михаил, сын хозяина, выдержал блестяще. Все время, пока экзамены длились, Иван вместе с ним жил: решали математические задачи, учили физические законы... Отец, счастливый, расцеловал выкупленного им когда-то крепостного Ивана, а сын Михаил стал просить отца, чтобы и Ваню тот бы помог определить в гимназию. И Ваня был принят тоже. Из гимназии вышел Иван с блестящим аттестатом и с фамилией Доброхотов, которая присвоена была ему официально вместо прежней деревенской кликухи. (Приложение 1)

Из того, как сложилась его дальнейшая жизнь, известно лишь то, что переехал он в богатый церквями город Муром, где женился на русской девушке-мещанке, с которой были у него дети: Михаил, Иван, Петр, Илья и дочь Александра. Сам Иван, бывший Челнок, учительствовал: сначала в приходской школе, а затем в местной гимназии. Супруга тоже учительствовала, но только в самые первые годы замужества. Потом растила и воспитывала собственных детей. Семья не была бедной, но и особого достатка не видела. Зато все жили очень дружно, помогая друг другу и стараясь получить хорошее образование. Книги в доме Доброхотовых ценили выше всех вещей. Все дети стали весьма образованными людьми.



Муром, XIX в.

Первенец Михаил, 1826 года рождения, успешно (с Похвальным листом) окончил Владимирскую губернскую гимназию, а потом – и тоже блестяще – юридический факультет Московского университета.



Михаил Иванович Доброхотов сразу по окончании Московского университета

На службе в Московском суде весьма быстро, в течение восьми лет, продвинулся от помощника столоначальника до секретаря суда и был жалован титулом личного дворянства*. Впоследствии он стал известным в Москве и любимым простыми людьми адвокатом и первым председателем организованного им же Совета адвокатов – появившегося тогда адвокатского сообщества. На заседаниях Совета обсуждались представления и жалобы, оценивались с морально-этической точки зрения поступки адвокатов. Сам он был кристально честным человеком, адвокатом, открытым и всегда готовым помочь людям, к тому же был оптимистом и любил добрую шутку.



Первый председатель Московского совета присяжных поверенных Михаил Иванович Доброхотов (1826—1869)

Умер он скоропостижно, от сердечного приступа, на сорок третьем году жизни, оставив жену (тетку Зинаиды Гиппиус) и двоих дочерей, которым потом помогали все братья Михаила Ивановича, и более всех живший с ним рядом на Остоженке Илья Иванович. В его семье потом жили сироты: младшая дочка Михаила Ивановича и дочка рано умершей младшей сестры Александры.

О нем, Михаиле Ивановиче, первом адвокате Москвы, писал потом известный своею абсолютной справедливостью знаменитый защитник бесправных людей А. Ф. Кони: «Московская адвокатура, ее организация в духе порядка и нравственной дисциплины была в значительной степени делом памятного Москве М. И. Доброхотова» (Судебно-юридическая газета, публикации. Михаил Доброхотов – первый московский адвокат. 10. 47. 29 августа 2011, газета 100, данные из интернета).

Братья Михаила Иван и Илья служили в Казначействе. А третий сын Ивана (бывшего Челнока) Петр, мой прадедущка, как и его старший брат Михаил, получил свидетельство о блестящем окончании гимназии и продолжил учебу в Московском университете, тоже на юридическом факультете. По его окончании отмечен был как лучший выпускник и мог выбрать себе город и место из предлагаемых вакансий. Выбрал тихую красавицу Калугу с видом на вели-

чавую Оку с ее отлогими песчаными берегами, сосновыми борами и дубовыми рощами, с ее здоровыми доброжелательными жителями, с рослыми полногрудыми невестами. Был не женат, и на работе, во втором уголовном отделении Калужского суда, пользовался большим уважением. Вскоре за свое честное и ревностное служение был отмечен достоинством Надворного советника, что было равнозначно званию подполковника в службе военной, а перед тем еще был жалован титулом личного дворянства¹.

Вокруг видного жениха закружили свахи, но застенчивый успешный чиновник Петр Иванович весьма тактично и строго всех их от себя отвадил: ему нравилась барышня, которая у них в конторе делопроизводства время от времени появлялась – переписывала каллиграфическим почерком важные деловые бумаги. Товарищи-сослуживцы предупредили, что девушка эта хоть и знатных дворянских кровей, но не имеющая даже на извозчика, не говоря уж о собственном жилье. А звали ее Надеждой...

¹ Примечание. Личное дворянство – это пожизненное дворянское звание, полученное за личные заслуги и не передающееся по наследству. Правами личного дворянства пользовались лишь вдовы и дочери. Инициатором положения о личном дворянстве был Петр I.

Генеральская дочка Надежда Петровская и Надворный советник с жалованным дворянством Петр Доброхотов становятся моими пра...

Петр Иванович был втайне влюблен, но особой надежды не питал: возлюбленная была намного моложе и весьма хороша собой, хоть и старалась выглядеть просто и скромно, к тому же происходила из рода знатного и когда-то богатого. Отец ее, орловский помещик и генерал Николай Петровский имел обширные владения земли и сотни крестьянских душ. Был, однако, весьма суров в обращении с людьми, в частности с собственными крестьянами. Был к тому же заядлый игрок... Проигрывал не только деньги, имущество, но и людей, собственных крепостных. А мать, которая доводилась близкой родственницей матери И. А. Бунина, была, наоборот, кроткой и нежной в обхождении. Зверюгу-мужа ей удавалось смирять, и люди все – и крестьяне, и даже домочадцы с дворней – считали ее своей заступницей. (Приложения 1 и 2)

Когда муж ее, бывший генерал, после очередного проигрыша вдруг в одночасье умер, она узнала, что семья – она и четыре дочери – остались практически ни с чем... Дочери-бесприданницы, которых воспитывали для барской жизни, уча только танцам, французскому языку и хорошим манерам, были совершенно не приспособлены к самостоятельной жизни. Почти все, когда выросли, ушли в монастырь...

Надежда, старшая из дочерей, стараясь хоть как-то облегчить жизнь семьи, подалась в соседний губернский город Калугу. Работала в Калужском приюте, а затем стала давать уроки музыки в домах небогатых мещан и снимать угол в частном доме. Потом, прознав, что делопроизводству суда требуется переписчик с хорошей каллиграфией, обратилась туда и периодически получала работу... Там и познакомилась она со своим будущим мужем, моим прадедушкой Петром Ивановичем Доброхотовым.



Надежда Николаевна Доброхотова, урожденная Петровская, 18-летняя, XIX в.

На венчание от Петровских приехала мать Надежды и проживающая в имении на правах родственницы племянница Надеждиной матери и няня, которая потом так и осталась в доме у Доброхотовых, помогая нянчить детей. «Няня, бывшая крепостная, выходившая саму Надежду Николаевну, помогла выходить и всех ее десятирех детей. Она была членом семьи: могла и нашлапать ребят, и распорядиться по хозяйству... Выучила старших девочек прясть, вязать, шить, заниматься домоводством: солить грибы, запекать окорок, делать наливки», – вспоминала моя двоюродная тетя Анна Дмитриевна Андриевич, урожденная Разломалина. (Приложение 2)

Венчание и свадьба прошли довольно скромно. Новая калужская семья не могла обрести собственное жилье и снимала мансарду (рядом с теперешним инкубатором). (Приложение 2) Семья быстро росла, а когда появился восьмой ребенок, Петра Ивановича перевели в город Поневеж Мировым судьей.

«Была тяжба между богатым польским графом и жителями городка Поневеж. Граф хотел оттягать у города большой выгон и луг. Он обещал судье немалое вознаграждение, если дело решится в его пользу. Петр Иванович отказался от взятки и вынес решение в пользу жителей города». (Приложение 2).



Надворный советник, мировой судья Петр Иванович Доброхотов, XIX в.

В Поневеже семья жила в просторном доме, при котором был сад и постройки для скота. Домашним хозяйством управляла деятельная Надежда Николаевна, у которой там родились еще две девочки.

Петру Ивановичу приходилось ездить на выездные суды по всему району. И однажды в дороге застал его сильный ливень. Он простудился. Кое-как леченая простуда перешла в хроническое воспаление легких... Влажный климат Поневежа спровоцировал развитие туберкулезного процесса, и Петру Ивановичу врачи посоветовали срочно вернуться туда, где потеплее и посуше, в Калугу...

Дом на улице Баранова Гора (позже Красная Гора) в Калуге

К возвращению семьи в Калугу Иван Иванович Доброхотов приготовил купленный им на паях с братом Петром Ивановичем, моим прадедушкой, дом на улице Верхне-Казанской, называемой в народе Баранова Гора, где издревле селились калужские гончары. Баранами называли они глиняные умывальники – двухрожковые кувшины. Возможно, и название улицы пошло от этого.



Улица Баранова Гора, старая Калуга (фото из интернета)



Дом Доброхотовых на ул. Красная (Баранова) Гора, Калуга



Дом Доброхотовых, Калуга

С приходом советской власти почти все названия калужских улиц изменились, тоже и улица Баранова Гора стала называться Красной горой. А дом 10 в начале улицы, почти на самом верху ее, остался каким был: большой, деревянный, двухэтажный, под стать семейству Доброхотовых – полтора десятка человек вместе с тетушками и нянечкой. Да еще и брат отца семейства, пожилой холостяк Иван Иванович. Он, однако, долго в доме не жил. Когда

через несколько лет умер Петр Иванович, брат его Иван передал свою долю жилой площади семье умершего и еще помогал чем мог вдове и старшему сыну Михаилу, который учился в университете.



Второй сын Ивана Доброхотова (Челнока), старший брат Петра Ивановича Доброхотова, работник Казначейства Иван Иванович Доброхотов, 80-е годы XIX в.

В настоящее время дом этот, как и другие деревянные строения позапрошлого и начала прошлого веков на этой улице, выглядит весьма убого, как и все отжившее. А тогда, в конце XIX века, здесь кипела жизнь: везли в торговые ряды и выставляли прямо на улице свой товар гончары, степенно шли в церковь женщины с детьми и старушки, стайками тусовались босоногие подростки...

Родившийся в 1871 году первенец Михаил, весьма способный к наукам, был организатором в Калуге первого марксистского кружка, ставшего там затем первой ячейкой РСДРП. Через два года появился на свет Николай, а затем Илья, Тихон, Иван, погодки Вера и Гриша и, наконец, в 1887 году Маня, моя незабвенная бабушка, а после нее еще две девицы Оля и Ната. Всего десять детей. А было бы и больше, но вскоре после рождения последней дочери умер от скоротечной чахотки отец семейства Петр Иванович. Было ему тогда всего 56 лет. Количеством рожденных в ту пору детей было не удивить, но вот то, что никто из детишек Доброхотовых не умер в младенческом возрасте, было для того времени удивительным и являлось большой заслугой матери семейства Надежды Николаевны, воспитанной гувернанткой-немкой. Строго соблюдать гигиену было первейшим правилом в семье Доброхотовых, которому впоследствии следовали все их дети, а потом и внуки с правнуками...

Даже еще и на моей памяти улица, которая уже называлась Красная Гора, летом была вся изрыта. В мелких округлых ямках купались в пыли куры, а в ямках побольше, где после дождей оставались вода и грязь, любили чиститься свиньи. А дома всегда был добела выскобленный пол и покрытый свежестиранной, из выбеленной мешковины скатеркой огромный дубовый

стол с приставленными к нему с обеих сторон крепкими лавками и тяжелыми, с высокими спинками стульями у торцов стола. На стульях, под большой в позолоченной оправе иконой Казанской Божией Матери сидели отец с матерью, а прямо напротив – пожилые: родня и гости. Ну а по сторонам на лавках размещались свои: молодежь, дети, племянники, друзья... У семьи Доброхотовых было их всегда много. Родители были оба глубоко верующие и хлебосольные. Хотя изысков не было – русские щи да каши и пироги по праздникам – еды всегда хватало, чтобы накормить вдруг оказавшихся рядом с домом идущих на богомолье монашек и обычных странников или голодных бродячих артистов, а то и самого околоточного, которому велено было часами следить за домом... Но это уже было потом, в предреволюционные годы.

Доброхотовы в предреволюционные годы

«Не пойму, – сетовал как-то Надежде Николаевне „охранник“ мятежного дома Доброхотовых, – вы все такие хорошие люди, а привечаете страшных крамольников, тех, что против батюшки царя идут...» «Так ведь я не вижу их крамолы, а лишь то, что это несчастные голодные люди, которым надо помочь», – оправдывалась истинно верующая мать юных революционеров, Михаила и Веры Доброхотовых. И околоточный с Надеждой Николаевной соглашался.



Семья Доброхотовых, начало XX в. Сидят на скамейке: вторая справа – мать Надежда Николаевна, дочери Вера и Мария и четверо из шести братьев; внизу – младшие дочери Оля (слева) и Ната.

«Однажды, – рассказывала мне моя бабушка Мария Петровна, – сестра Вера, сказав матери, что быстро вернется, пошла к Оке на организованную маевку. А за нею околоточный поспешал. „Барышня, вернитесь, – взывал он, – вашей маме плохо!“ Узнал он, что готовится разгон митингующих с дальнейшим препровождением их в тюрьму. Бежит за Верой и все повторяет: „Вашей маме плохо...“ А та от него как от мухи назойливой отмахивается. Наконец остановилась. „Очень плохо, очень-очень“, – не отставал околоточный. И Вера, увидев действительно озабоченное лицо околоточного, поверила ему и побежала обратно. Так Вера избежала ареста и тюрьмы, но это лишь однажды. Потом сидела, и не раз, не только в тюрьме, но и в карцере». Таким же защитником обездоленных рабочих людей был и ее избранник по жизни, Дмитрий Васильевич Разломалин. Забегая на многие годы вперед, скажу: Дмитрий Разломалин, революционер из народа, рабочий, был в тридцатые годы арестован как враг народа и расстрелян... Ну а тогда он был непримиримым борцом с царским самодержавием.



Дмитрий Васильевич и Вера Петровна Разломалины,
конец XIX – начало XX в.



Михаил Петрович Доброхотов,
студент Московского университета, конец XIX века.



Женская гимназия, где училась Вера Доброхотова, Калуга, XIX в.

Все это происходило уже в XX веке, когда отца семейства Петра Ивановича Доброхотова не было в живых. Мать по-прежнему вела хозяйство, заботилась, чтобы все были сыты, чтобы дети учились. Старший брат Миша, студент, врач по специальности, был за свою деятельность революционную исключен из Московского университета и в дальнейшем продолжал учебу в университете Харьковском. Сестра Вера окончила в Калуге гимназию, а затем учительствовала, а Маня, моя Бабушка, определена была в Институт благородных сиротских девиц в Москве на полный государственный кошт. Ну а младшие, Оля и Ната, в подростковом возрасте были отправлены на учебу в немецкий Веймар, где получили замечательное гуманитарное образование и после работали учителями музыки и немецкого языка. Последнее, однако, оказалось для них гибельным. В 1941 году захватившие Калугу немцы, узнав, что сестры хорошо владеют немецким, заставили их быть переводчицами. Когда в 1943 году Красная армия освободила Козельск (под Калугой), где они проживали, их тут же без суда и следствия схватили как немецких пособников и расстреляли. Жители Козельска, хорошо знавшие их как ни в чем не повинных учителей своих детей (совершенно никто из-за них среди жителей Козельска не пострадал), обратились было с ходатайством к нашим органам, но было уже поздно...



Надежда Николаевна Доброхотова с двумя младшими дочерьми, Олей (слева) и Наташей, 1915 г.

Остальные все, кроме еще старшего брата Михаила, дожили до преклонного возраста, имея семьи и детей. А Михаил Петрович уже в начале XX века стал профессиональным революционером. Он так и не женился, хотя, по словам моей Бабушки, очень любил одну девушку и постоянно хранил у себя в нагрудном кармане ее фотографию. После изгнания из Московского университета и непродолжительного тюремного заключения он был выслан в Калугу под гласный надзор и там, у себя на родине, развернул активную революционную деятельность среди молодежи, а в собственном доме (хорошо известном в Калуге доме Доброхотовых) организовал марксистский кружок.

Осенью 1899 года он уехал в Харьков, чтобы продолжить там в университете свое образование (медицинское) и одновременно активно вел подпольную революционную деятельность. В период своего пребывания в Харькове, а это почти четырнадцать лет, он поддерживал связь с калужскими социал-демократами. В 1913 году он был снова арестован, заключен

в тюрьму, откуда через несколько месяцев отправлен был под гласный надзор полиции в Полтаву, а оттуда – снова под гласный надзор – в родную Калугу.

В отличие от сестры Веры, которая была за бескровную революцию, Михаил Петрович стал большевиком и в 1915 году уехал в Петроград, принимая деятельное участие в партийной работе, а затем, после Октября 1917-го и до конца своих дней работал в Петроградском комитете РКП (б). В голодную весну 1919 года он простудился. Ослабленный голодом организм деятельного борца за рабочее дело не имел сил сопротивляться болезни. Михаил Петрович умер в апреле 1919 года в Петрограде.

Лично мне помнятся сестры Доброхотовы, особенно миниатюрная, как и моя Бабушка, очень деятельная и добрая Вера Петровна. Именно Вера, по рассказам Бабушки, обихаживала приходивших в дом посетителей – странниц, нищих, бродячих артистов и музыкантов: поила чаем и кормила их, находила теплые вещи, в которых те остро нуждались. Однажды, это было еще при царе, и знаю об этом я по рассказам Бабушки, в дом пришел бродячий музыкант, кажется, итальянец, с маленькой обезьянкой. Он кутался в шерстяную кофту с чьего-то могучего плеча, а обезьянка тряслась от холода, сидя у него на плече. Оба должны были зарабатывать себе на пропитание: тощий, утопающий в широченной кофте дядечка играть на скрипке, а обезьянка – под его музыку плясать. Сестра Вера, бывшая в то время второй после матери хозяйкой в доме, усадила артистов – тщедушного, в нездешних летних одеждах и широкополой шляпе музыканта и прижавшуюся к его плечу дрожащую обезьянку, выбрав для них место на кухне у самой печки... Перед гостями поставили оранжевые глиняные миски с горячими щами, чугунок с русской кашей со шкварками, печеные яблоки, положили на круглый поднос ломти духовитого домашнего хлеба... Итальянец деловито очищал миски, сперва от шей, потом от каши, закусывая все это хлебом, а обезьянка старалась запихнуть себе в широко распахнутый рот все сразу: щи, кашу, печеные яблоки, а потом и появившееся на столе печенье... Ну а сестры-рукодельницы Вера и Маня отыскивали где-то богатые лоскуты ворсистого зеленого сукна и теплой ярко-малинового цвета бумазеи и, обмерив согревшуюся обезьянку, приступили к шитью. Обезьянка меж тем, пользуясь, что хозяин ее задремал прямо за столом, стала шалить и безобразничать: пыталась «накормить кашей» стол, стулья, старого полусонного кота, а заодно попасть печеным яблоком в оконное стекло, надеть себе на голову чугунок из-под каши... Обновке, малиновому платьицу и теплой суконной душегрейке, рада была несказанно, то и дело ощупывала и охлопывала их на себе и пробовала на зуб...

После еще отыскивали и оставшуюся от отца ватную душегрейку для хозяина обезьянки. Потом оба артиста работали: итальянец выдавливал из своего весьма потрепанного инструмента визгливо-дребезжащие звуки, стараясь выстроить их в виде веселого танца, а одетая в платьице обезьянка, норовя двигаться под музыку, выдавала разные коленца, приседала и затем, стоя на двух задних лапах и касаясь передними пола, несколько раз подряд подпрыгивала на всех четырех конечностях вверх и кувыркалась. При этом артистка не переставала строить забавнейшие рожи. Все были довольны. Младшие, Оля и Ната, повизгивали от восторга.

А вечерами в доме собиралась молодежь. На столе стоял огромный самовар, за столом юноши в косоворотках и скромно одетые барышни неспешно пили чай, заедая его сахарными сухариками. Все молча слушали послание самого Карла Маркса. А чуть в отдалении у приоткрытого окошка сидел паренек Лешка-балалаечник и тихо, но очень сосредоточенно наяривал «Барыню» или «Во саду ли, в огороде». Подростка Манечку, перед тем как начать «серьезный разговор», отсылали на улицу проверить, как слышно. Нередко, когда Маня, моя будущая

Бабушка, подходила к углу дома, от него, скользнув быстро, удалялась чья-то тень. А из окна слышна была только балалайка. И Маня возвращалась в дом, чтобы сообщить об этом старшим.

Все же охранка бдела и время от времени проводила внезапные облавы. Впрочем, для дома Доброхотовых внезапности довольно долгое время не было: околоточному удавалось как-то узнавать о готовящейся облаве и сообщать матери семейства, которая частенько его, наблюдающего за их домом, звала в ненастную погоду немного обогреться и потчевала горячими щами и собственной выпечкой...

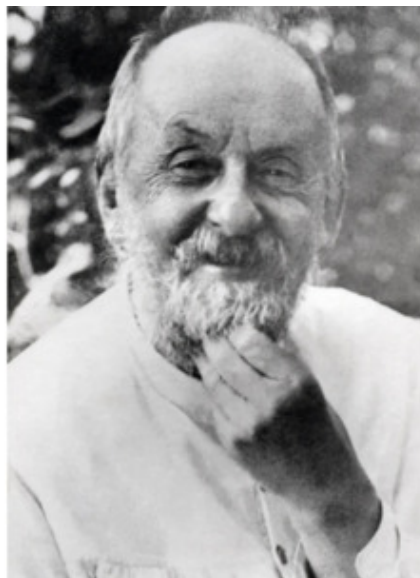
Однажды, однако, такая облава закончилась для Доброхотовцев весьма печально: на столе рядом с самоваром обнаружили запрещенные книжки. Тогда арестовали всех гостей и забрали Михаила и Веру Доброхотовых. Остальные братья и сестры, которые, кстати сказать, более склонны были к рукотворному делу, чем к политике, находились почти все в саду: был сезон сбора яблок. И только брат Илья был возле самого дома во дворе. Он сооружал лодку по заказу жившего в Калуге английского лорда Каннинга. (Приложение 3)



Михаил Петрович Доброхотов, Калуга, 1914 г.

Константин Эдуардович Циолковский и семья Доброхотовых

Именно к Илье захаживал «чудаковатый, глухой» учитель со слуховой трубой – Константин Эдуардович Циолковский. Впрочем, у «чудака» уже тогда были научные работы, в частности известная публикация «Аэростат металлический, управляемый», и была научно-фантастическая книга «Грезы о земле и небе», где ученый обдумывал будущее Земли и Человечества. О Земле он говорил, что она «должна быть объявлена общим достоянием, и не должно быть человека, который бы не имел на нее права». И еще он писал, что «задача человечества – достигнуть совершенства и изгнать всякую возможность зла и страдания в пределах Солнечной системы». Эти его мысли были близки и другим Доброхотовым, особенно Вере Петровне, которая после окончания гимназии тоже учительствовала в Калуге и какое-то время близко общалась с дочерью Циолковского Любой, своей почти ровесницей.



Константин Эдуардович Циолковский в отличном настроении, Калуга, начало XX в. (фото из интернета)

Ну а младшие Доброхотовы всегда встречали его радостными детскими объятиями. «Однажды, – вспоминала Бабушка, – мы, ребятня, встретили пришедшего в гости Константина Эдуардовича радостными возгласами: «Фринка оценилась, у Фринки – щенки!», и кто-то из младших, кажется, Ната, полезла было под лодку, которая, как обычно, стояла во дворе, и под которой находилось собачье семейство. «Не лезь, – остановил Нату гость, – Фринка будет очень переживать, если взять у нее щенка. Она ведь мама, а я и так посмотрю», – и, опустившись на землю, стал заглядывать под лодку, а потом сказал: «У Фринки пустая миска. Ее надо больше кормить, потому что она кормит щенков, а они быстро растут...»



Дочь Циолковского Любовь Константиновна, с которой дружила Вера Доброхотова

Илье Петровичу все же удалось сделать самоходную лодку по заказу близкого к Доброхотовскому кружку владельца аптечного магазина П. П. Каннинга и по эскизам Циолковского. Это был катамаран – две остроконечные сигарообразные лодки, соединенные платформой, на которой могли располагаться люди. Сначала лодка двигалась усилиями самих пассажиров. Благодаря умной конструкции требуемые усилия были минимальными. Позже Илья Петрович сконструировал для этой лодки мотор. Лодка, точнее, это был маленький корабль, курсировала по Оке и была первым в Калуге моторным плавательным судном. (Приложения 1 и 3)

«Зрит ли Он?»

Шло первое десятилетие двадцатого века. Мир поражался и восторгался открытиями ученых, особенно в области математики и естествознания – физики, химии, астрономии, биологии... Открывалось и научно объяснялось все больше тайн и чудес природы. Люди не только познавали и объясняли Мир, но и научились его преобразовывать. И все чаще сами себе задавали вопрос: где же Бог? И как он, высший и справедливейший Судия, допускает такую страшную несправедливость, когда человек угнетает и эксплуатирует человека? Зрит ли Он?

В семье Доброхотовых горячо спорили на эту тему. Старшая сестра Вера утверждала, что Бог – это Любовь и что добродетелью можно и нужно бороться со злом. Именно добродетелью побеждать несправедливость и зло. А для того чтобы победить в этой борьбе, надо объединяться всем, кто хочет искоренять это зло, объединяться в группы, надо просвещать народ, ибо многое делается из-за непонимания того, что хорошо и что плохо: люди ходят в церковь, молятся «во имя Христа» и фактически попирают Его тем, что позволяют свершаться злу.

Вера стала революционеркой, членом РСДРП, однако идеи большевизма она не приняла никогда, осталась с меньшинством (меньшевики).

А старший брат Михаил горячо с Верой спорил, пытаясь любимой сестре доказать, что по-хорошему это зло – эксплуататорский класс – не победить, что бескровной эта борьба быть не может, словом, был большевиком. Моя бабушка в их спорах целиком поддерживала Веру, однако считала себя неспособной быть революционеркой, пусть даже и меньшевичкой. Зато ее очень увлекали идеи Льва Николаевича Толстого, и она несколько раз ездила в Ясную Поляну к великому старцу. Но то было в летнее время, когда девиц отпускали домой на каникулы. А остальное время, исключая Рождественские святки, она, как и другие благородные девицы, жила по строгому распорядку и всегда следовала правилам поведения института, в котором содержалась и воспитывалась.

Мои бабушка и дедушка

В огромном актовом зале Николаевского Института благородных сиротских девиц, вырываясь из чуть приоткрытых окон, играла музыка: вальсы, польки, мазурки... Шел бал будущих выпускниц. Одной из них была очаровательная 18-летняя барышня, с точеной, словно у богини, фигурой, с очень доверчивой улыбкой на миловидном лице – девушка Мария, или Манечка, Доброхотова. Считаться классической красавицей не позволял ей носик картошечкой, зато сколько было в ней непосредственности, свежести и особой девичьей грации. Ее то и дело пытались пригласить на танец пришедшие на бал новоиспеченные, с блестящей выправкой офицеры царской армии, но она весь вечер кружила в вальсе, отплясывала польку и краковяк с голубоглазым стройным молодым человеком от науки, учеником известного ученого-химика Карпова и покорителем дамских сердец Иосифом Филиповичем. Иосиф был на шесть лет старше Манечки и в отношениях с дамами имел богатый опыт. Познакомившись с девицей Доброхотовой, он сразу понял, что нашел свое истинное счастье, и там же на балу объявил, что делает ей предложение руки и сердца – пока неофициальное, но вполне искреннее и от всей души. Оба, однако, решили, что спешить с бракосочетанием рано: обоим надо окончить учебу. Но дали друг другу адреса для переписки. Больше года обменивались письмами: короткими и нежно-заботливыми от нее и длинными, полными любовной страсти и остроумной мысли от него ей...



Девушка Мария Петровна Доброхотова, воспитанница Николаевского института благородных сиротских девиц, 1906 г.

Мария полюбила раз и на всю жизнь. А горячо любивший ее Иосиф то и дело становился пленником своего пылкого темперамента, увлекаясь легкодоступными красотками и восторгаясь строгими красавицами, которыми всегда была богата Москва. Однажды увлечение переросло в настоящее чувство, и девушка Доброхотова несколько месяцев не получала от него писем. Потом пришло письмо из Парижа: Иосиф просил прощения за все, что произошло, и главное за то, что более трех месяцев не писал. Он также сообщил, что у него в Париже от бывшей москвички, вольнолюбивой красавицы-революционерки родился внебрачный сын Борис и что он, Иосиф, сына своею заботой не оставит... И писал, самое главное, что любил всегда и по-прежнему любит только ее, нежную и мудрую девушку Марию...

А потом Иосиф и Манечка снова встретились, на этот раз уже в Калуге, где Мария Доброхотова начинала свою учительскую карьеру. Иосиф снова просил ее руки и сердца, но теперь уже официально, обращаясь как положено сперва к родительнице ее. И мать – вдова Надежда Николаевна благословила молодых иконой Казанской Божией Матери от себя и от покойного незабвенного мужа своего Петра Ивановича Доброхотова.



Икона Казанской Божией Матери, самая любимая и почитаемая в семье Доброхотовых

Помню, как прижимала моя бабушка эту икону к самому сердцу, когда мы спускались в бомбоубежище, будучи в Москве, или прятались в солдатских окопах под Сталинградом. Помню, как молилась она перед этой иконой, прося за ушедшего на фронт сына Владислава и за меня, до предела истощенную во время нашей с нею жизни в деревне Соколовке под Сталинградом...

Ну а тогда моя будущая бабушка, благословленная православной иконой, венчалась с моим будущим дедушкой в московском католическом костеле... Шаг этот, как сама она мне признавалась, не был с ее стороны ни легкомыслием, ни предательством. «Бог – один, и Он все понимает, и Он рад, когда люди – пусть разной веры – объединяются для общего доброго дела, каким является семья...»



Молодой Иосиф Владимирович Филипович, 1910 г.

Свекровь ее, Мария Иосифовна Филипович, называемая в семье Бабуня, обожала свою невестку, помогала воспитывать детей. Старшая внучка ее, моя мама, полная Бабунина тезка, жила у нее месяцами и очень-очень ее любила. А обитала Бабуня вместе со вторым своим мужем, известным на всю Москву ветеринарным врачом и специалистом по лошадям Александром Сперанским, в деревянном двухэтажном домике рядом с Московским ипподромом (Приложение 4).

Частым гостем в Бабунином доме был ее младший сын Леон, которого девочка Маруся или, как звали ее дома, Манюся, будущая мама моя, называла Тялястиком. Тялястик много возился с малышкой-племянницей Манюсей, и та очень его любила и помнила всю жизнь. У самого Леона личная жизнь не сложилась. В молодости он полюбил девушку по имени Эльвира. Должна была состояться их свадьба, но буквально накануне венчания невеста скоропостижно скончалась... Леон так и не смог ее забыть: был однолюб... И был очень предан своей маме и всем обитателям ее дома, в частности часто гостившей у Бабуни ее снохе Манечке

с детьми Манюсей и Владиком. И он весьма заботился о них. Ну а его старший брат Иосиф, тоже химик по образованию, к работе своей относился с еще большей страстью, чем даже к любимым женщинам.

Будучи учеником известного химика Л. Я. Карпова, Иосиф Филипович в полную силу собственного темперамента и таланта участвовал в разработке грандиозного проекта своего учителя по созданию Вахтанского канифольного завода. (Приложения 5 и 6)

В 1915 году большая исследовательская работа, выполняемая в то время Иосифом Филиповичем, военнообязанным Русской царской армии, была прервана: его мобилизовали, а семья осталась в доме у Бабуни, где одну из комнат занимал друг семьи, старый холостяк по прозвищу Палялевич, которым одарила его любимая внучка Бабуни Манюся (Приложение 4). Он, как и муж Бабуни, был ветврачом. С началом войны его отправили в Воронежскую область, туда, где находились необходимые для ведения войны табуны лошадей. Живописные степи, чистый воздух, изобилие фруктов и всех других сельскохозяйственных продуктов, которых в Москве тогда сильно недоставало, побудили Палялевича пригласить туда пожить часто болевшую простудами Бабуню. Она ехать отказалась, а вместо себя послала туда семью сына своего Иосифа – будущую мою бабушку с детьми. (Приложение 4).

Первая мировая и гражданская войны – долгие годы разлуки

«Тогда казалось, что уезжаем всего на какие-то месяцы. Оказалось – долгие годы...» – вспоминала Бабушка.

В Россоши она работала учительницей и растила двоих детей. (Приложение 4).



Манюся Филипович в подростковом возрасте, 1920 г.

А Иосиф Владимирович в конце 1917 года вернулся к прежнему своему совместному с профессором Карповым проекту постройки в России канифольно-скипидарного завода. Талантливый и работоспособный инженер и ученый, он претворял в жизнь замечательный проект. (Приложения 5, 6 и 7)

Через несколько лет он стал главным исполнителем этого проекта. В 1921 году И. В. Филипович был назначен председателем и главным инженером особой строительной комиссии «Вахтанское строительство», которая действовала на основании постановления Совета Труда и Оборона, подписанного В. И. Лениным.



Филипович Иосиф Владимирович – организатор советской химической промышленности, 30-е годы XX в.

По сентябрь 1927 года Филипович И. В. работал начальником и главным инженером Вахтанского завода, а с октября 1927 года – уполномоченным ВСНХ РСФСР по временной эксплуатации предприятия «Вахтан» с правами и обязанностями главного управляющего трестом.

В последующие годы жизни И. В. Филипович продолжал работу над проектами лесохимических заводов, работал заместителем директора по науке в физико-химическом институте им. Л. Я. Карпова, преподавал в институте Народного хозяйства им. Плеханова, в Ленинградской лесохимической академии, был избран профессором по кафедре канифольно-скипидарного производства, сотрудничал в качестве члена редколлегии с журналом «Лесохимическая промышленность». Это все было уже в двадцатые годы (Приложения 5, 6 и 7).

А в период Гражданской войны он, очень талантливый, но еще совершенно неизвестный инженер, одержим был идеей создания технологии производства канифоли в России. На разработку грандиозного проекта тратил он всю без остатка свою могучую энергию, живя вдали от семьи.

Мария Петровна тогда была в Россоси, в тяжелейших условиях растила двоих детей. Супруги общались письмами.

Иосиф Владимирович однажды к ним приехал. Почти неделю добирался: поезд больше стоял, чем ехал... Для семьи это было большим праздником. Да продлился этот праздник всего пять дней. Пообещав вскоре перевезти их всех в новое жилье на Вахтане Нижегород-

ской области, он уехал. А недели через две пришла телеграмма от Бабуни: просила Манечку срочно приехать в Питер, там с воспалением легких лежит Иосиф... И Манечка, поручив своих деток соседке-учительнице, поспешила к мужу. Выходила его... И, договорившись с мужем как можно скорее снова встретиться, чтобы уже не разлучаться в будущем, поехала обратно к детям в Россошь. А там еще не совсем угасла эпидемия тифа и уже всю разгуливая холера. Дети встретили маму свою здоровыми, но уже на следующее утро тяжело заболел холерой восьмилетний Владик... (Приложение 4)

Мария Петровна встретила эту напасть со всей стойкостью и оптимизмом: она полностью изолировала от Владика тринадцатилетнюю старшую дочь Манюсю, поселив ее в комнатке этажом ниже с отдельным входом и с пропитанным карболкой ковриком у входа, а также ручным умывальником, куда вместо обычной воды залит был слабый раствор марганцовки. Ну и, конечно, весьма частое мытье рук.

А больного Владика она поила мятным и ромашковым настоем, без конца обкладывала грелками и бутылками с горячей водой и, конечно, постоянно меняла стиранное в растворе карболки и кипятке постельное белье... За первые пять дней болезни худенький даже еще будучи здоровым, мальчик превратился в обтянутый посеревшей кожей скелет. А на шестой день болезни он признался своей маме, что умирает. Голос его был очень тихим и казался совершенно спокойным, смиренным... «Нет-нет! Ты не умираешь! Ты побеждаешь. Ты начинаешь выздоравливать! Ты выздоровеешь! Скоро!» – и Мария Петровна, которая еще полчаса назад потеряла надежду на спасение своего сына и беззвучно плакала, укрывшись на минутку в темном чулане, вдруг стала до того сильной духом, что сама поверила этим своим словам. И, наверное, поверил ей сын ее Владик. Он в тот вечер впервые спокойно уснул. А наутро забрезжила надежда: болезнь может быть побеждена... Предстояли дни и недели отчаянной и стойкой борьбы за восстановление сил... Настояли мяты и ромашки, рисовые отвары, а также карболка с марганцовкой долго еще использовались в доме Марии Петровны Филипович. В семье больше никто не заболел, тогда как вокруг холера свирепствовала, унося в могилы многие сотни и тысячи жизней... И был строгий карантин: не разрешалось ни приезжать, ни выезжать в другие города.

Так и не удалось тогда Иосифу Владимировичу воссоединиться со своей семьей. А между тем начался новый учебный год. Учительница Мария Петровна и дети ее – Мария и только что поборовший смертельную болезнь Владислав – пошли в школу...

Бабушка моя потом часто вспоминала это тяжелое, но и весьма отрадное для нее время. Ребята в ее классе были все почти из села, общались между собой на удивительной смеси русского и украинского языка и были весьма непосредственны. Однажды на уроке русского языка ученик на задней парте поднял руку:

- Мария Петровна, хтось набздив...
- Цэ Микола набздив, – уточнил другой мальчик.
- Культурные люди говорят: испортил воздух, – поправила мальчишек моя Бабушка.
- Так набздив, шо й воздух испортил культурным людям, – подытожил первый мальчик...

Потом, через годы, те мальчишки действительно стали образованными людьми и своей любимой учительнице писали письма – уже в Москву... Ну а тогда семья Филипович жила, точнее выживала, в Россоши.

Семейная трагедия и железная воля хрупкой Манечки

А глава семейства Иосиф продолжал на Вахтане строительство первого в России канифольного завода. Шли месяцы, годы. Письма от любимого супруга и отца приходили все реже. Наконец пришло письмо от Бабуни: просила Манечку срочно приехать с детьми. Встречал Леон-Талясик, как всегда элегантный, но чем-то явно опечаленный. На вопросы детей об отце отвечал кратко: здоров, живет на Вахтане, много работает... А дома у Бабуни, куда все прибыли с дороги, после объятий и угощения вкусными штруделями и хворостом, Леон повел детей на прогулку, а Мария-свекровь с плачем обняла свою Марию-невестку и сообщила ей горькую новость: у Иосифа новая семья... Обе Марии, обнявшись, плакали, а потом Мария Петровна распрямилась, стрункой потянулась вверх и сказала: «У меня дети. Надо жить дальше...»

Она довольно быстро нашла работу: ее взяли учительницей-воспитательницей бездомных детей в детской колонии, которая располагалась в трех дачных домиках северо-западной окраины Москвы, в Покровском-Стрешневе. В домике с балконом, самом большом из всех, просторную комнату на втором этаже с выходом на балкон дали семье старшей воспитательницы – учительнице Марии Петровне Филипович. В двух узких комнатках напротив, в том же коридоре, жили пожилой завхоз и две молоденькие учительницы. А на первом этаже того же деревянного дома были комнаты, где проживали воспитанники.

Мои Бабушка и Мама много рассказывали о жизни в этой небольшой детской колонии. Все ребята звали друг друга прозвищами. Так, мальчишку, который сидел за одной партой с моей будущей мамой, называли Манюшкой, а саму Манюшу – Совой. Владика звали Тинь-Тинь, а его друга Владимира – Головастиком... А еще были: Ворона – красивая черноволосая девочка, Жаба – зеленоглазый мальчишка, а также Рыжий, Серый, Кот, Филин, Бегемот и т. д. А еще Бабушка рассказывала, что ребята, включая и ее собственных детей, постоянно хотели есть. В Москве тогда было очень голодно. В колонии от голода никто не умирал, но жили впроголодь. Супы из картофельных очисток заправляли серой мукой с остями. О хлебе, тем более о булочках, только мечтали. Зато по утрам и вечерам воспитанников поили чаем с маленькими кусочками сахара.

Мария Петровна и дети, Манюша и Владик, похудели... Однако никто из них не унывал, как и воспитанники. В классах учили и учились. Много пели. Днем – про героя Чапаева, про Щорса, а вечерами из спален слышалось дружное и печальное: «Позабыт, позаброшен... С молодых юных лет я остался сиротой. Счастья-доли мне нет...» Дни шли за днями. Голодные, холодные и полные трудов и забот. И однажды в один из таких дней к Марии Петровне приехал ее супруг. Прямо с Вахтанской стройки первого в России канифольного завода. Выпускаемая канифоль впервые в мире осветленная по его, Иосифа Филиповича, патенту... На осветленную канифоль уже были получены заявки из-за рубежа...

Приехал Иосиф Владимирович радостный, успешный. Поднял на руки и расцеловал подросших детей. «Манечка! Родная моя!» – обратился к супруге.

«Мария Петровна», – поправила она его, искавшего ее поцелуя. Поцеловала мужа в лоб, красивый высокий лоб. Да, она согласна оставаться его супругой. Согласна навсегда: ведь они повенчаны... И там... они будут вместе. А здесь... Нет, она слишком любит его, она не может делиться с другою своей любовью... Она останется верной ему до конца своих дней... Словом, Бабушка моя отказалась от сожительства со своим собственным супругом, у которого были уже дети – две девочки-малышки – от другой женщины, секретарши главного инженера строительства Вахтанского завода И. В. Филиповича... Мария Петровна не поехала на Вахтан, куда Иосиф Владимирович очень звал ее, и осталась работать и жить в Покровском-Стрешневе по адресу: улица Центральная, д. 25.

Детскую колонию через несколько лет перевели в новое здание на Ленинградском шоссе и стали именовать Детским домом. А Мария Петровна поступила учительницей во вновь открытую школу в Покровском Стрешнево близ Всехсвятское, где долгие годы, до начала Отечественной войны, преподавала русский язык и литературу в 5—7-х классах и где потом учились дети ее – моя мама и дядя Владик. В ту же школу ходила и мамина лучшая подруга Люся (Ольга) Ивинская, с которой они вместе бегали на литературные вечера и встречи с поэтами – Маяковским, Крученых, молодым Пастернаком... Обе писали стихи... А после школы мама Манюся, наскоро окончив курсы геологических коллекторов, подалась на Север в Хибины, в геологическую экспедицию.



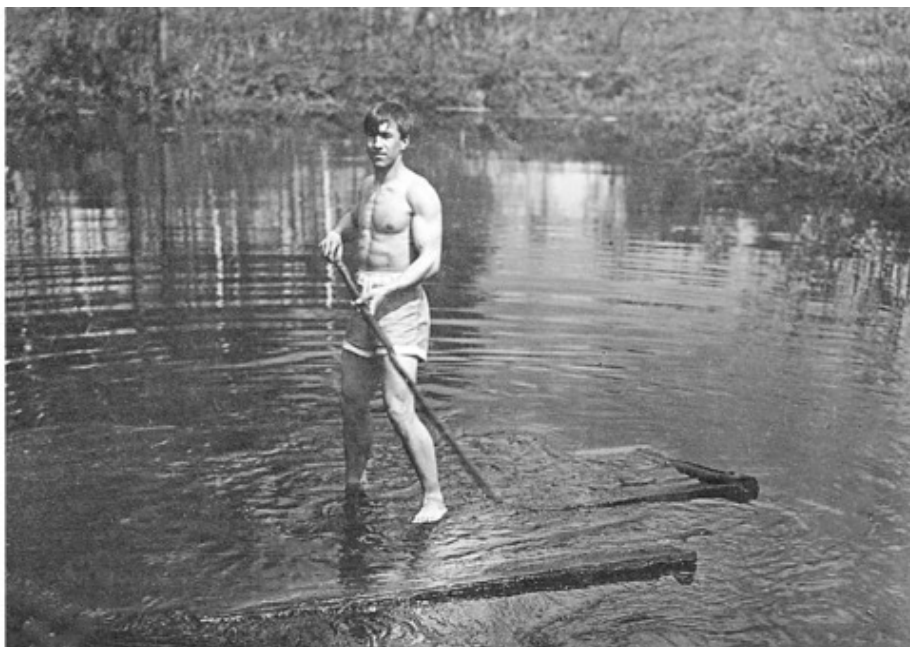
Отец, Григорий Иванович Смирнов, 26 лет, в пору знакомства с Марией Филипович, 1933 г.

Там познакомилась с моим будущим отцом, геодезистом Григорием Ивановичем Смирновым, бывшим моряком, помощником капитана на Балтийском флоте. И через пару лет, а именно 1 августа 1934 года появилась на свет я. Рожать меня мама приехала в Москву и была со мною целый год, даже чуть больше года, а потом снова уехала в экспедицию...

Глава 2. МОИ ДЕТСТВО И ПОДРОСТКОВЫЕ ГОДЫ

Деревянный домик и огромный двор с высоченными соснами в Покровском-Стрешневе

Я осталась со своей замечательной Бабушкой жить в комнате с балконом деревянного дома в Покровском-Стрешневе. В доме было всего восемь комнат, и Бабушке, бывшей воспитательнице детдома, досталась одна из самых больших в этом доме, та, в которую ее когда-то поселили, молодую, с двумя детьми, старшую воспитательницу детской колонии. Правда, на моей памяти комната с помощью шторы была поделена на две части: в одной, где были входная дверь и напротив нее выход на балкон, жили мы с Бабушкой, а за ширмой, где на тот же балкон выходило окно, жили мой спортивный дядя Владик и его жена, чем-то похожая на высокую, с розовой корой сосну, – Тетя Тася.



Владислав Иосифович Филипович (дядя Владик), студент, Москва 30-е годы XX в.



Наталья Дмитриевна Разломалина (тетя Тася), студентка, Москва

В комнатах напротив, через узкий коридор, жили «интеллигентный человек», как он сам себя называл, Дмитрий Сергеевич – полноватый мужчина средних лет, музыкант Большого театра и занимавшие соседнюю с ним, тоже весьма узкую комнатку, тетя Палаша и ее семья – тихий неказистый муж и четверо горластых детей. «Семья пролетариев», – так сама хозяйка и ее малоразговорчивый супруг себя называли. Музыкант Дмитрий Сергеевич уходил на работу в театр после обеда, а по возвращении домой любил сыграть на пианино только что услышанную арию или марш из оперы. Помню, меня в это время бабушка собиралась укладывать спать (а я, конечно же, не хотела!), и было ужасно весело, когда в мелодичные звуки пианино сквозь ор сестер и братьев «разбуженного» младенца врвался звенящий грохот ударов чем-то тяжелым о пустые ведра. Впрочем, музыкант Дмитрий Сергеевич на это не реагировал: слушал только то, что играл сам. Все же соседям удавалось его пронять. Рано утром, когда отец и самый старший брат из семьи пролетариев уходили на работу, оставшиеся дома щипали младенчика так, чтобы тот орал. И тогда в стенку отчаянно колотил разбуженный интеллигент Дмитрий Сергеевич.

А еще по утрам слышались крики с улицы: «Вода! Вода-а!» Это кричал возница-водовоз. Бочка с водой стояла на телеге, запряженной «клячей водовозной», которая сонно кивала тяжелой головой навстречу бегущим с ведрами людям... Вскоре, однако, мне тогда исполнилось 4 года, невдалеке от нашего дома открыли колонку, и за водой можно было ходить в любое время. Ну а в самом доме никаких удобств. Бабушка, как и другие хозяйки в том нашем доме, готовила на примусе или на керосинке, которые ставили на большой крепко сбитый табурет, выставленный за дверь собственной комнаты в узкий общий коридор. Керосином в нашем коридорчике пахло постоянно. Им не только пополняли «животы» примусов и керосинок, но и наполняли пузырьки от одеколона и духов. Керосином смазывали кровати, когда там заводились клопы, использовали в компрессах и в лечении различных болячек. Также керосином Бабушка моя протирала ручки дверей, когда в доме появлялась инфекция. Помню (а может, это со слов взрослых), я почти до четырех лет ничем не болела. Но когда в доме кто-то из детей заболел скарлатиной, никакой керосин не помог: я подцепила инфекцию. Болела

тяжело. От скарлатины в то время многие умирали. Начало болезни я не помню. Меня отвезли в больницу, где все-все было белым, таким, что резало глаза. А потом, наоборот, какая-то лохматая чернота с непонятными яркими искрами в ней окружала меня. И так длилось долго. А однажды, это я хорошо помню, показываю медсестре градусник, вынутый из собственной подмышки. Сестра стряхивает и просит, чтобы я еще поставила. А мне так хорошо было, даже весело. И я засмеялась. И снова подаю сестре градусник. А сестра берет градусник и, глядя меня по голове, произносит: «Молодец!» А потом приходит доктор, прикладывает к моей спине трубочку и тоже говорит, что я – молодец. И к моей постели подкатывают застеленную кровать на колесиках, перекадывают меня в нее и везут в другую, очень светлую палату. Там – выздоравливающие дети и много разных игрушек. А в окна ломится солнышко и видятся нежно зеленые листья клена... А потом в окне появляется родное лицо Бабушки... И мне уже позволяют встать с постели, выходить в коридор... Мне все еще приносят порошки с противным красным стрептоцидом, еще прослушивают мое сердце, которое доктор почему-то называет «скарлатинным», но уже я играю на полу со своими сверстниками... И наконец за мной приезжает из далекого далека моя мама-геолог и везет меня домой в Покровское-Стрешнево на черной легковой машине «Эмке»... Мама какое-то время жила с нами, и к нам приходили в гости ее подруги: худенькая Верочка Данилова, крупнотелая, с красивым лицом Анечка Кितिцына и похожая на хрустальную рюмочку (стоявшую в Бабушкином шкапике, в память о ее помолвке с дедушкой) Люсинька Ивинская. Все они угощали меня конфетами и нежно ласкали. И я их всех тоже любила, особенно тетю Анечку Кितिцыну. Они пили чай и читали стихи, читали с каким-то надрывным завыванием, от которого мне становилось очень скучно, и я, помню, под завывания их сладко засыпала. А потом Мама снова уехала на Север в экспедицию, а у меня после ее отъезда заболели уши и почечные лоханки. И я снова в постели, но уже дома. Ко мне приходит очень добрый доктор. У него круглый живот, круглое лицо, круглый нос. Мне он всегда приносит какой-нибудь подарок: вырезанных из картона зверушек – зайца, лягушку, собаку или ярко раскрашенную хлопушку. И мне очень радостно, когда он приходит... Через какое-то время у меня уже целый «зоопарк» и уже целых четыре хлопушки... Наконец, мне снова разрешают играть во дворе. А двор огромный, и в нем высоченные, прямые, как свечи, сосны. И снова бабушка целыми днями в школе, а ко мне приходит из деревни Щукино моя худенькая и очень загорелая няня Полюша.

Потихоньку от Бабушки она свозила меня однажды во Всехсвятскую церковь, которая находилась всего за несколько трамвайных остановок от нашего дома. Церковь была почти пуста. Меня поразила особая, торжественная красота убранства церкви. Полюша мне тогда сказала, что это Дом самого Господа Бога. «А где же Он Сам?» – сразу же поинтересовалась я. А она отвечала, что здесь Он, хотя и невидим. «И даже если в лупу смотреть, не увидишь?» – допытывалась я. – «Только душой можно Его увидеть! В молитве... Помолись Ему!» «А как это?» – допытывалась я. – «А ты попроси Его о чем-нибудь!» И я, совершив, как учила меня Полюша, крестное знамение, стала просить у Бога, чтобы Он дал мне мою Маму, потому что я очень-очень по ней соскучилась... И каково же было мое удивление и какая радость, когда на следующее утро я увидела с балкона входящую в наш двор... Маму. Она схватила меня на руки, стала целовать и кружить. А Бабушке сказала, что приехала всего на несколько дней по работе. В срочную командировку. Бабушка сразу же по-доброму вспомнила о ее начальстве, а я знала, что это Бог услышал мою просьбу и привел мою Маму из далеких северных Хибин в Покровское-Стрешнево ко мне. Я была очень благодарна Богу, но Маме ничего не сказала, потому что обещала няне Полюше хранить эту тайну про себя.

Через несколько дней после приезда Мама повезла меня во Всехсвятское, но не в церковь, куда мы раза три ездили с Полюшей, а на станцию метро «Сокол». Бабушка мне уже про метро рассказывала, его тогда только что открыли. Это – подземная железная дорога с подземными станциями-дворцами. Мама повезла меня на самую красивую станцию – «Маяков-

скую», где самые большие эскалаторы – лестницы-чудесницы. Станция меня поразила: огромная и очень красивая. И совсем почти нет пассажиров. Тоже и на лестницах-чудесницах почти никого взрослых, а только мальчишки и девчонки, все чуть постарше меня, и все не ехали куда-то, а просто катались... На лестнице мне очень понравилось, и я в первый же день научилась не бояться на нее наступать и с нее сходить. А потом еще долго смотрела вверх, на мозаичные картины на потолке станции: аэропланы в голубом небе, физкультурники... Столько картин, аж голова устала смотреть, и я снова попросилась покататься вверх-вниз, но Мама сказала, что хватит и что скоро снова сюда придем. А потом, вскоре, мы с Мамой поехали через всю Москву на улицу Воронцово поле, где в доме с остекленной террасой жил мой дедушка со своим семейством. Это было мое первое свидание с дедушкой Иосифом и его дочками, моими тетюшками.

В гостях у моего замечательного дедушки

Сидели за большим овальным столом, на котором в огромном, тоже овальном блюде лежали гроздья спелого винограда. За столом кроме Дедушки, меня и Мама были мои тети: Марина, Аня, Нина, Елена, Наташа... Марина уже почти взрослая, красивая и нарядная, а младшая, Наташа, была только чуть-чуть постарше меня. «И ты тоже моя тетя?!» – вопрошала я ее. А она в ответ молчала... И вообще они, все девочки, вели себя со мной очень милостиво и сдержанно. А мне было ужасно весело: я наконец-то видела собственного любимого дедушку, о котором рассказывали мне мои мама и бабушка, и восторгалась тем, что у меня столько замечательных тетей. И, наверное, радость моя достигла своей вершины, когда мой очень красивый дедушка посадил меня к себе на колени, и я могла гладить его волнистые волосы, играть с его пышными усами. Мне нравилось брать его за ус так, чтобы оттягивалась верхняя губа. А потом быстро отпускать. И тогда слышался громкий шлепок. Тети мои смотрели на это молча и с явным испугом, а я наслаждалась тем, что мой замечательный дедушка был мне абсолютно послушен: плям! плям! Мама наконец стащила меня с рук дедушки и сказала, что пора ехать домой. А мне ужасно не хотелось покидать дедушкин гостеприимный дом, не хотелось покидать дедушку. Я даже заплакала. Дедушка успокаивал: «Мы скоро увидимся снова. Тебя ко мне будет привозить твоя тетя Марина».

Это «скоро увидимся» так и не наступило: дедушку прямо из его дома выхватил самый ужасный хищник, разъезжавший по Москве в 1937—1938 годах, Черный воронок...

Мне, конечно же, об этом не рассказали. «Дедушка уехал, очень далеко и надолго», – отвечали мне, когда я спрашивала своих Бабушку и Маму о том, когда мы снова поедem к дедушке в гости. Только в 50-е годы Мама осторожно мне сообщила, что дедушку арестовали в 1938 году как врага народа. Что с ним стало после, можно было только догадываться: был осужден на длительный срок «без права переписки». С годами стало понятно, что значила эта формулировка: смертная казнь. В 1950 году семье моего дедушки в ответ на их запрос сообщили, что он умер от разрыва сердца. Но где именно, когда? И есть ли где-нибудь его могилка?

13 мая 2015 года. Совет ветеранов поселка Дубровицы во главе с Федоровой Раисой Петровной, бывшей моей знакомой по аспирантуре во Всесоюзном, ныне Всероссийском институте животноводства, организовал поездку в мемориальный центр «Бутовский полигон». (Приложение 8)

Ласковое солнце, яркая зелень, медовый запах зацветшей черемухи и почерневший Поклонный крест рядом с недавно воздвигнутым православным храмом – Собором Бутовских новомучеников. И ухоженные клумбы вокруг, и газоны, и молодой соснячок. Ну а мы все, женщины-ветераны, идем к месту захоронения новомучеников. Это через дорогу, то есть через неширокое шоссе, по которому неспешно, в два встречных ряда, движется транспорт, автобусы и легковые машины.

Ров шириною три метра и столько же глубиной, протяженностью почти в один километр – общая могила многих десятков тысяч здоровых, ни в чем не повинных людей: церковнослужителей, студентов и преподавателей вузов, ученых, изобретателей, музыкантов, писателей, артистов, да и просто обычных честных граждан – рабочих, служащих, даже домохозяек...

Приговоренных к расстрелу свозили на Бутовский полигон в основном днем, хлебовозками, и помещали в спецбарак на территории полигона. А «особо опасных» доставляли непосредственно перед расстрелом, глубокой ночью. Расстреливали в предутренние часы. Несмотря на то что черные дела свои энкавэдэшники делали в безлюдное время суток и в относительно безлюдных местах, местные жители слышали хлопки выстрелов и короткие крики команды сквозь приглушенные крики жертв...

Дедушку убивали 16 августа 1938 года. Что думал он, что чувствовал, когда их, приговоренных к смерти и привезенных в закрытых грузовиках в подмосковную глухомань, стали сгружать, словно скот, у неглубокой траншеи. Видел ли он, что в той страшной ямине уже лежали убитые, слегка прикрытые землей и каким-то мусором? Или он, всегдашний оптимист и романтик, смотрел только вверх, на яркие августовские звезды в предутреннем небе, стараясь вобрать в себя разом всю Вселенную, пытаясь понять, как же будет дальше существовать мир без него, без его разума? Без его деятельной энергии? Смерть казалась невероятной, невозможной... И в то же время смерть жестоко скалилась дулами ружей и наганов в руках человекообразных исполнителей приказов, поглощала людей прямо у него на глазах...

И, может быть, он вспоминал первую и единственную тогда свою внучку, меня то есть. Наверное... Потому что я думала о нем очень-очень часто, мечтая встретиться...

Встретилась через 77 лет... С местом его последнего пребывания на нашей земле, с его могилой – огромнейшим рвом на Бутовском полигоне...



Внучка репрессированного Иосифа Владимировича Филиповича, ученого-лесохимика, создателя первого в России канифольного завода, Э. Г. Филипович с книгой памяти «Бутовский полигон», 2013 г.

«Кому хоть раз довелось спуститься в погребальный ров Бутовского полигона, тот не забудет этого никогда. Вповалку, вперемежку, как в каком-то могильнике для скота, лежат останки тех, кто, как и мы теперь, были людьми, полными жизненных сил и планов на будущее. Сколько здесь погребено

известных и безвестных талантов, невостреванных умов, непостроенных храмов, ненаписанных книг и картин, неродившихся детей, может быть, гениев, чьи открытия украсили и просветили бы мир! Сколько кануло в бездну воспоминаний, огорчений, радости и надежд! Тут праведники и святые, тут же и великие грешники: воры, убийцы и даже сами недавние исполнители приговоров...

...Преступления переполнили чашу, человеческий разум не в силах вместить их. Неисчислимы сонмы мучеников...»

«Бутовский полигон, 1937—1938», книга памяти жертв политических репрессий, кн. 3, стр. 15—16 и стр. 203. Постоянная межвед. Комиссия правительства Москвы по восстановлению прав реабилит. жертв полит. репрессий. (Приложение 8)



Бутовский полигон. Панихида по убиенным, май 2017 г.

Я ребенком ничего этого не знала, даже и предположить не могла, что такое возможно... И при этом на моей родной земле, в моей горячо любимой стране.

«Кремлевские звезды над миром горят
Всем людям видать этот свет!
Хорошая Родина есть у ребят,
И лучше той Родины нет!»

— декламировала я короткий стишок на новогоднем празднике в январе 1939 года. Свято веря, что в этом стишке все — правда.

Детство мое в довоенные годы проходило безоблачно: все, что касалось дедушки Иосифа и Калужской родни, где тоже были «враги народа», от меня тщательно скрывали.

В четыре года няню Полюшу сменил детский садик. Это одноэтажный деревянный дом с двумя просторными комнатами, кухней с кладовой и большой остекленной террасой, где

двумя рядами торцами друг к другу стояли детские коечки с матрасиками, одеялками и другим спальным бельем.

Нас укладывали после обеда. За стеклом террасы по голубому небу плыли причудливой формы облака. Они то походили на синеглазых фей в пышных одеждах из белых или чуть розоватых кружев, то были огромными кораблями с белыми парусами, то напоминали какие-то невиданной красоты дворцы... Плыли медленно, неспешно сменяя друг друга. В полной тишине, от которой что-то тенькало в ушах и сами собой закрывались глаза...

А потом – полдник. Нас, еще сонных, усаживали за наши столики, где уже стояли мисочки с белой кашей и чашечки с красным киселем. После полдника снова шли гулять, но уже только в огороженном высоким дощатым забором детсадовском дворике, откуда нас по одному забирали домой. За мной приходила Бабушка или тетя Тася. А однажды пришли обе, и я так была рада этому, что по дороге домой шла вприпрыжку. Дорога через железнодорожное полотно проходила не прямо, а огибая высокую насыпь, к дощатому переходу. Я, однако, огибать не стала, а, добежав до насыпи, прямо с нее скатилась вниз. А что было дальше, помню только по рассказам взрослых. Гудел мчащийся по рельсам, что пролегали под высокой насыпью, паровоз. Страшный рев паровоза – прямо у моей головы. А я, скатившись, лежала между рельсами. А бабушка с тетей Тасей, заговорившись, чуть приотстали. А потом паровоз остановился, уже в отдалении, и прибежавший машинист схватил меня на руки и стал охлопывать и осматривать, цела ли. А потом подбежали бабушка с тетей Тасей и тоже стали меня тискать, и плакали обе, и просили меня сказать что-нибудь. А я совсем не плакала и совсем не могла говорить. А на другой день я уже могла что-то выговорить, но с очень большим трудом, заикаясь...

Больничка, где меня лечили от заикания, небольшое здание в два этажа, находилась во Всехсвятском, недалеко от храма. В палате полутьма, мягкий зеленый свет, ласковые нянечки и красивая, в белом тетя учит нас петь. И мы, несколько девочек, вслед за ней поем песенки, а потом пропеваем слова, пропеваем целые предложения. И так день за днем: поем, поем, говорим нараспев... К нам в палату никто не приходит, только передачи передают. Но вот однажды нянечка мне сказала посмотреть в окно. Там внизу стояла Бабушка, махала мне рукой. Нянечка мне сказала, что я скоро пойду домой.

А дома встретили меня дядя Владик и Тетя Тася и, ничего не говоря, повели в свою комнату. А там, рядом с их широкой кроватью, стояла бельевая корзина на колесиках, и в ней два белых свертка. Один из них вдруг зашевелился и запищал. И мне сказали, что не корзина это, а детская коляска, а в ней две мои сестрички, ужасно похожие друг на друга, Ирочка и Леночка. Мне позволяли с ними гулять по нашему двору, и я катала коляску по всем тропинкам, что были меж сосен. Сестренки мои хорошо росли и уже пытались садиться. И были очень красивые: глазки голубенькие, бровки почти черные, щечки розовые, ротики, носики – все такое, будто у царевен. «Скоро на ножки поднимутся, ходить начнут», – говорили няня и Бабушка. Я, однако, их на ножках уже не видела: их отвезли в Калугу. Тетя Тася уехала тоже, а дядя Владик в Калугу часто ездил, но жил в Покровском-Стрешневе, потому что учился в аспирантуре. А потом началась война...



Эля с мамой в Покровском-Стрешневе, 1940 г.



Дядя Владик, начало 1941 г.



Владислав Иосифович Филипович, ноябрь 1941 г. (перед отправкой на фронт)



Тетя Тася, 1945 г.

Романтика «Войны-метелицы» и мрак подлинной войны-убийцы

Дома и в детском саду я легко говорила, будто и не было никогда этого заикания, и постоянно что-то сама себе напевала. Эта привычка осталась на всю жизнь, и когда меня спрашивают, что пою, я обычно не могу ответить: сама не знаю, все происходит «на автомате». В садике была заводилой и запевалой. Особенно любила песни военные. Мы, ребята, очень любили играть в войну. Взрослые, помню, тогда много о войне говорили – как о большой беде, которая на нас надвигается. А мы совсем этого не чувствовали, мы нетерпеливо ее ждали:

«Когда война-метелица придет опять,
Должны уметь мы целиться, уметь стрелять», —

лихо пели мы очень популярную тогда «военную» песенку... Даже когда война началась и стали бомбить наше Покровское-Стрешнево, страха не было. А только ужасно все было интересно: прожектора, молодежь на крышах домов (ловили зажигательные бомбы), бомбоубежище вместо скучного засыпания в коечке... И только потом, в августе 1941 года, когда поезд, на котором нас с Бабушкой приехавшая из экспедиции мама везла подальше от войны, под Сталинград, стали бомбить налетевшие вдруг тяжело ухающие самолеты, только тогда я впервые испугалась... Всем велели покинуть вагоны. Кто-то и меня вынес. И вдруг сквозь уха-ние и вой – истошный крик моей мамы: «Эля, ложи-ись!!!» А куда? Передо мной вдоль железнодорожного полотна была неглубокая канава, и в ней характерные желто-бурые кучки... И тут страшный треск. Бомба разорвалась совсем рядом, и кто-то уже громко стонал, а я лежала, кем-то пригнутая к самой канавке, носом прямо в одну из вонючих кучек... Стало страшно выворачивать... И в голове вдруг пронеслось: вот она такая гадкая – настоящая война... И по сей день осталось во мне это чувство глубокого отвращения к войне – как к какому-то крайне позорному и недостойному Человека действию...

Под Сталинградом

В Соколовке, под Сталинградом, вовсю светило солнце, в ярко-голубом августовском небе крикливо хлопотали птицы... На песчаной дороге, ведущей с косогора от бахчей в деревню, скрипели запряженные огромными серыми волами ребристые арбы, груженные тыквами, дынями, арбузами...

В Соколовке всего тридцать дворов, не считая сельсовета и школы, двух кирпично-дошчатых домов казенного вида, которые как бы вышли погулять через речку за деревню, чтобы полюбоваться на нее со стороны. Избы все срублены из тщательно пригнанных бревен, в каждой избе – русская печь с лежанкой...

В течение всего времени проживания в Соколовке, в голоде, холоде и недетских заботах, вытопленная русская печка была отрадой и утешительницей. Тепло ее приглушало настырные позывы голода, убаюкивало в липком забытии, уносило в зыбкий туман грез и мечтаний, туда, где сладко пахло наваристыми щами и где ломтями резали запашистый хлеб...

«Жрать хочу, не знаю ка-ак! Умира-а-аю!» – громко скулил младший хозяйский сын Славка. «Ща мать придет, затирухи сготовит!» – успокаивал его желтоглазый подросток Горка и, зыркнув на меня, добавлял: Только Эльке, мотри, ниче не давай!»

Однако это было уже много-много позже, когда в Соколовке опустели все землянки и блиндажи и перестала сладко дымить военная кухня. А тогда Соколовка была глубоким тылом, и осень сорок первого там отмечала себя богатым урожаем проса, а также бахчевых и поливных овощей... К тому же мы, семья геологической экспедиции, получали паек – хлеб, сахар и другие продукты, которых деревенским не полагалось...

Первого сентября Мама проводила меня в школу, большой кирпичный дом, разделенный узким коридором на две не совсем равные половинки. В одной из них, большей, была просторная классная комната с огромной классной доской, учительским столом и двумя рядами парт. В другой, с красным флагом во всю стену – пионерская комната. А в конце коридора была дверь в учительскую, которая одновременно была и жилой комнатой для самой учительницы, единственного педагога этой школы.

В первом классе нас было двое, я и Васька Василичев. Во втором классе – четверо, и в их числе моя подруга Надя. В третьем за тремя партами – пятеро. А парты второго ряда все были заняты учениками четвертого класса. Многие из них были второгодниками, а некоторые и по третьему году сидели. Среди учеников четвертого класса был старший сын наших хозяев, Горка. В классе был он выше всех ростом, рыжий, с конопушками и плохо выговаривал букву «Р».

В школе все классы обучались одновременно. Первым делом учительница давала задание ученикам двух первых классов. Помню, мы с Васей должны были в тетрадке по чистописанию написать какие-то слова и буквы. У нас на двоих была одна чернильница, в которую мы макали свои перья. Чернила на перышке не удерживались, и в тетрадке появлялись жирные кляксы... Все это чистописание казалось мне очень скучным. Куда интереснее было вместе с четвертым классом смотреть по карте нашу огромную замечательную страну с ее морями и реками...

– Какая из наших рек самая большая? – спрашивала Александра Матвеевна ребят 4-го класса.

– Волга! – ответил кто-то из старшекласников.

– Нет, кто еще скажет?

– Днепр!

– Енисей...

– Амур!

– Нет и нет. Так кто же скажет?

– Обь! Обь! – выкрикнули мы оба с Васей.

– Правильно. Обь! Только вас это не касается, – заметила нам учительница, – у вас чистописание. – И стала стыдить ребят из четвертого класса: не знают географию...

А на перемене Горка и еще один переросток ухватили меня и Васю и стали нас лбами друг о друга стучать, и с каждым разом повторяли: «Обь! Обь! Обь!...» Ужасно было обидно, да и больно. Немного, потому что мы оба упирались.

Соколовка все больше заполнялась военными, техникой. В самой деревне, в избах стояли только врачи и девчата из медсанбата. В бывшем деревенском клубе расположился госпиталь. А в перелесках сплошь были землянки, блиндажи, окопы и сладко дымила полевая кухня, где нас, ребятшек, неплохо подкармливали.

И все шли и шли через Соколовку беженцы. И гнали скот к переправе, которая была совсем недалеко от деревни. Лишь узкая гряда невысоких холмов отделяла нас от Волги. Животные, были это не только коровы, лошади, овцы, но и верблюды, зебры, бизоны, – стояли порой по несколько дней в специальных загонах за деревней, ожидая переправы...

А маму с ее геологической партией срочно отозвали в Магнитогорск, было сказано, что на три месяца. Но приехать ей за нами не удалось: к Сталинграду придвинулись полчища немцев и никого к нам не пускали... Тоже и мы не могли уехать за Волгу на восток. Эвакуироваться нам не разрешали, как и всем местным. А на левый берег переправляли только раненых и беженцев с Украины.

Помню, стояли погожие августовские дни. С бахчей в ребристых арбах, запряженных рогатыми серыми волами, свозили урожай. Были на арбе и наши с бабушкой тыквы, которые весной сажала еще не уехавшая тогда моя мама: им, геологам, колхоз тоже выделил сколько-то земли. Ну а сгрузили все в теплый сарай рядом с хлебом и в горнице.

Шла последняя неделя августа. Бабушка разрешала играть на улице сколько хочу, потому что через пару дней каникулы закончатся и я пойду в школу во второй класс. Вдруг мы услышали далекое тяжелое уханье. Голубое небо к югу от нас стало завлакивать чернотой, сквозь которую прорывались красные языки пламени. Уханье не прекращалось весь день, и казалось, дрожит земля. А когда стемнело, зарево разлилось по всему южному горизонту. Бомбили Сталинград.



Сталинград. Первые налеты фашистской авиации (фото из интернета)

Соколовка притихла. Не слышно стало расквартированных по избам бедовых медсанбатовских девчат. А красноармейцы все стянулись в глубокую, поросшую терновником и дикими грушами балку, по дну которой шла утоптанная тропа, которая потом поднималась на лысый, белесый от пыли холм и круто опускалась к Волге. Раньше, когда еще балка не была перерыта окопами и до краев заполнена военной техникой, блиндажами и палатками, мы, дети, бегали смотреть с холма на Волгу. Противоположный левый берег был еле заметен. В сизом мареве виднелся прильнувший к земле город Николаев. Туда паромы с нашего, правого берега доставляли беженцев, раненых, скот. Вскоре, однако, когда начались налеты ухающих немецких бомбардировщиков, красиво-раздольный волжский пейзаж превратился в ад. Разбомбили нефтебазу. Нефть вылилась в реку. Огонь и чернуший чад над ним плыл и плыл по Волге к самому Сталинграду, где и без того все рвалось и горело, унося тысячи жизней таких же, как мы, детей, а также их мам, бабушек и дедушек...



Жители Сталинграда везут на велосипедах свои вещи, покидая город, 1942 г. (фото из интернета)

А зарево и в последующие дни то чуть стягивалось к самому горизонту, то снова поднималось, охватывая чуть ли ни треть неба... Не угасало многие дни и недели, даже месяцы... Там все рвалось и горело. Там был Сталинград. До нас доходил глухой гул того сражения...



Горит Волга. Сталинград, 1942 г. (фото из интернета)

А в самой Соколовке стояла напряженная тишина. Военные все ушли на подготовленные позиции, окопались на холмах, с которых еще в прошлую зиму мальчишки и девчонки соколовские лихо съезжали на салазках. А теперь мы, население, отсиживались в погребах, рядом с бочками засоленных огурцов и горкой спелых арбузов или в подполе своей же избы. Деревню ни разу не бомбили, бомбы рвались у самой Волги, а к нам долетали осколки. Сперва мы их собирали: блестящие, причудливой формы, в зазубринах. Потом их в огородах, прилегающих к холмам, сгребали граблями... Доносившийся к нам свистящий вой и треск взрывающихся бомб, шелест падающих осколков – все это стало для нас привычным. Даже младенчики перестали вздрагивать и громко плакать.

Война стала нашим бытом

Война стала нашим бытом. Мы, дети-школьники, в сентябре сорок второго снова пошли в школу. Учиться стало еще интереснее: к нам в школу, в пионерскую комнату приходил пожилой военный и рассказывал, что надо делать при налетах и при артиллерийских обстрелах, чтобы не оглохнуть, не паниковать... А потом учил нас, как пользоваться противогазом, и что делать, когда тебя или твоего товарища засыплет землей. Я, Вася Василичев, Надичка, да и все в школе тогда поняли, что самое главное – не быть трусом, помогать товарищу и верить в нашу победу.

Помню, я уже не чувствовала себя сама собой, а лишь малой частичкой великого целого **мы**. И, наверное, поэтому совсем не страшно было погибнуть: **мы** все равно останемся жить и **мы** – победим!

«Сур-р-ровый голос раздается!
Клянемся зе-эмякам:
Поку-уда се-е-эрдце бье-отся,
Поща-ады нет врагам...» —

звенели по деревне наши голоса.

Зимними вечерами мы слышали, как подвывали волки. Как и стада племенного скота с Украины, как зебр и других диких животных из Аскании-Нова, их тоже пригнало войной. Но в отличие от верблюдов и зебр их никто не переправлял на левый берег, и они остались у самого края, на прибрежных холмах. В темноте высвечивали светло-серыми огоньками их глаза. Огоньки то собирались в кучку, то разбегались по всему гребню холмов, у самой Волги...

А на Сталинград из Соколовки все шли и шли военные части. Сначала те, что стояли давно и долго. Тогда свадьбу даже сыграли. Чернокосая шестнадцатилетняя красавица Павлинка замуж вышла.

Потом следовавшие через Соколовку отряды «свежих сил пополнения» задерживались в деревне и ее окрестностях уже не месяцы, а недели, а затем – всего дни, а то и часы перед отправкой на передовую...

Отправили на фронт и всех оставшихся еще в деревне соколовских военнообязанных. Это были восемнадцатилетние и чуть постарше девчата, в том числе старшая дочь наших хозяев Рая, и сам хозяин, немолодой председатель Соколовского сельсовета Александр Васильевич Соколов, а также и все признанные годными для военной службы лошади.

Сталинград победил

Стояли морозы, да еще и с ледовитым степным ветерком, когда всех нас, жителей и военных, находившихся в деревне или рядом с ней, собрали на небольшом выгоне посреди деревни. Летом здесь устраивали театральные представления приезжие артисты или свои же расквартированные по дворам военные. Наверное, играли талантливо: до сих пор помнится, как жилистый повар Гриша, что всегда подкармливал нас, переодетый и загримированный, изображал пышнотелую тетку, которая любовничала с военным дядькой и у которой во время их общего танца отваливалась то одна «сиська», то другая, а то и целая «попа». Были это специально пошитые подушки и подушечки. Повар Гриша их поднимал и с уморительной ухмылкой засовывал обратно. Смеху было... Истерзанные мужичьей работой и постоянной тревогой за ушедших на фронт или прибитые похоронками, женщины все тогда смеялись до слез...

И вот на этом же месте, небольшом пустыре с утоптанном снегом, Петруха торжественно объявил митинг. За ним выступил прибывший с фронта легкораненый майор и произнес: «Мы победили! Фашисты, которых не добили в Сталинграде, все сдались в плен!»

Все кричали ура, а мы, дети, прыгали от радости и от того, что в старенькой обуви сильно мерзли ноги. А через какое-то время нам показывали фильм про Сталинград, и мы увидели немцев не страшными вояками, а жалкими пленными. Ужасно смешно было видеть их в напаянных на себя женских кофтах и зипунах, обмотанных шальями и одеялами, в каких-то невероятно больших, словно пароходы, тряпками подвязанных к ногам галошах. Женщины, сморенные работой, смотрели на это молча, а мы громко радостно смеялись, ликовали: мы – победители!

А вскоре Соколовка опустела – Красная армия ушла на запад. Ушла с ней и солдатская кухня.

Мои первые трудовни. Голод...

Было без солдатского кулеша со шкварками довольно голодно, однако наступила весна, зеленела молодая крапива, раскрылись напоенные весенней влагой почки ольхи, липы, других деревьев, а на лугу, возле речки, сочными пиками пробился на свет и быстро пошел расти дикий лук, и тут же стали заметны чуть иного оттенка, чем лук, всходы раста, который мы любили особо за его сидящие в земле сладкие луковки... Все это мы, дети, ели. А из крапивы Бабушка варила щи. «Их бы забелить хоть чуточку молоком», – вздыхала она. Но корову Горка заморил: сэкономил корма. И хозяева наши, тоже и мы, остались без молока... Зато летом я упросила председателя Петруху взять меня на работу в колхозный сад-огород. Меня приняли подсобником. Сначала моим делом было залезать на деревья и собирать груши или яблоки там, где женщины достать не могли. Но потом, когда пошли огурцы с помидорами, моей основной работой было таскать и прятать женщинам их «калым». Это были сумки из мешковины, у каждой своя, которые они наполняли тем, что убирали: луком, огурцами, помидорами... Сумки казались мне ужасно тяжелыми, а носить далеко было – к речке, в самую гущу прибрежного камыша. Когда шли домой, то и в мою сумку клали немного «калыма», и когда я это приносила домой, Горка хвалил и сам подавал мне ложку, чтобы хлебать щи или есть просынную кашу, а потом допытывал, сколько мне поставили за сегодня палочек, то есть трудовней. Сам он тогда уже работал на тракторе и получал по несколько палочек в день. А на каждый трудодень полагалось по килограмму зерна, сколько-то картошки, моркови и других овощей – всего, кроме бахчевых. Арбузы, тыквы каждый себе выращивал сам. Однако год тот был неурожайным, государству надо было сдавать все сполна, иначе трибунал: война... Палочки наши так и остались палочками.

И тогда в деревне начался голод...

Сельским жителям в отличие от городских продовольственный паек не полагался или был весьма мизерным. Считалось, что колхозников полностью обеспечивает колхоз. Но так как война, из амбаров колхозных все повыгребали уполномоченные. Правда, у колхозников, кто похитрее, кое-что оставалось, хотя и очень немного... Ну а нам – нас тоже посчитали сельскими жителями, хотя у нас не было вообще ничего, – нам было положено вспоможение в виде пятидесяти граммов муки на человека, то есть сто граммов на двоих нам с Бабушкой. При этом мука – сметки с отрубями. Правда, хозяйка нас чуточку подкармливала из своего, хотя ее собственный младший сын и мой друг Славка ежилась на еле теплой печке и без конца скулил: «Жра-ать хочу, не знаю ка-ак! Ну жрать хочу-у-у...»

Зимой и ранней весной работы в колхозе не было, и женщин гоняли на лесозаготовки. Там кормили, давали приварок, но работа была непосильной: женщины срывали спины. А в избах, часто нетопленных, пухли от голода дети и старики и потихонечку умирали... Официально, конечно же, от болезней помирали... Простудилась и ушла на тот свет самая младшая из нашей детской компании – большеглазая и кроткая Анюточка. Вслед заболели мы с Бабушкой...

Температура спала, силилась встать, но ужасно кружилась голова, и я без сил валилась в свою собранную из ящиков койку. Бабушка молча лежала на койке рядом. Она поднималась, убирала за мной, старалась кормить меня тем, что у нас еще было – вонючей похлебкой из затхлых сметков. Но меня от неприятного запаха тошнило... До боли в затылке кружилась голова, не давала подняться. Я лежала тихо. Мне виделись высоченные сосны, наш залитый солнцем двор в Покровском-Стрешневе... Наверное, это был сон, точнее полудрема. Вдруг слышу Горкин скрипучий голос: «Ма-а! Ты, как Элька помрет, проси у Петрухи костей говяжьих. Чтобы все на поминках было, как у Анютки: щи на говяжьих костях...»

Я вовсе не испугалась, наоборот, обрадовалась: щи на говяжьих костях! Духовитые, наваристые. И уж я-то наемся! Мои ведь поминки!

И, наверное, так бы все и закончилось для меня. Но случилось чудо. В избу зашла крепкая румяная девушка Лена, участковый – на несколько колхозных деревень – агроном. Она прослышала про большую рукодельницу, мою Бабушку: надо было пошить и вышить батистовую блузку. Бабушка с трудом поднялась и показала на меня: «Внучка от голода... помирает», – последнее слово сказала она совсем тихо. И энергичная девушка тут же послала Горку узнать, у кого в деревне окотилась коза: был уже март месяц. Агронома Лену в деревне уважали, и нам принесли кринку козьего молока. В тот же день она договорилась, что нам будут каждый день в течение целого месяца носить по литру козьего молока. А еще она отсыпала овса от своей лошади... Мы выжили! Та же Лена, очень довольная Бабушкиной работой, договорилась с начальством стекольного завода, находившегося на самом берегу Волги километра за три от нас, что бабушку, бывшую учительницу русского языка, возьмут на работу в контору.

Нескончаемый, яркий до рези в глазах и ужасно голодный мартовский день. Бабушка ушла на стекольный завод чуть свет. Сказала мне, что сегодня у нее первый рабочий день и что, наверное, вернется с работы поздно. А я ждала ее уже с обеда. И сперва даже голод как-то приглож, не мучил как обычно. Время, казалось, где-то зависло и вытягивало из меня все силы. И вот уже вечер, и первые звезды на огромном небе. «Твою Бабушку съели волки!» – вдруг произнес Горка. Я хотела ему что-то сказать, но почувствовала, что язык мой не может пошевелиться! Меня словно всю морозом сковало. А мать напустилась на Горку. Тоже и Славка с печи стал Горке, своему старшему брату, доказывать, что дурак он: волки давным-давно вслед за Красной армией на запад ушли... Наконец пришла Бабушка, уставшая и очень довольная. И из пошитой ею холщевой сумочки вытащила хлеб! Целая большая буханка настоящего душистого хлеба. Мы все смотрели на него, как на чудо. А Бабушка попросила у тети Жени ножик и разрешила буханку на две половинки, и одну дает ей... А тетя Женя поцеловала хлеб и положила к Божнице, перед самой иконой Пресвятой Богородицы. «Спасибо Тебе, что сохранила Ты хороших людей», – сказала она. «Хлеб! Ура-а!» – победно завопил Славка и проворно слез с лежанки.

У Бабушки лицо сияло радостью, хотя по щекам катились слезы... Наверное, и слезы ее были от радости. Она достала из той же сумки свернутый из газеты кулечек с конфетками-подушечками и еще хлеба, довесок, и положила все на стол. И Славка, он от радости приплясывал у стола, тут же на все это нацелился. «А ну, кыш от стола!» – отгонял Горка. А тетя Женя провозгласила: «Ставь, Егор, самовар, будем чай пить, праздновать будем!»

И праздник получился. К чаю отыскалась еще и сушеная курага из тыквы, какие-то сухарики и еще почти полкруга макухи, то есть жмыха подсолнечного... Мы – кружка за кружкой – пили подслащенный чай и вспоминали совсем еще недавнее, около года назад, прошлое.



Стекольный завод на берегу Волги, недалеко от Соколовки, куда Бабушка устроилась на работу (фото из интернета)

Рядом с Соколовкой по грунтовой шоссейке гнали пленных. Мы все прибежали смотреть. И когда они, пригнутые своею судьбой и с понурыми лицами, шли мимо нас, мы кричали им: «Фрицы капут!» И один, совсем молоденький, глянул в нашу сторону и сказал, что Гитлер капут, а потом попросил хлеба: «Хле-еп, хле-еп», – просительно повторял он. А мы в ответ ему фиги: «А этого не хочешь?» А бабушка кинула ему свой кусочек, а потом плакала: тот пленный ей показался очень похожим на ее сына и моего дядю Владика... От Владика так и не было ничего... А тетя Женя рассказала, как муж ее, Александр Васильевич, в письмах своих спрашивался о нас и наказывал не обижать хороших людей. Вспоминали и про галифе, очень тогда модные брюки, которые квартировавший здесь боец забыл, а когда вернулся за ними, Горка их уже себе приспособил, а Славке свои штаны отдал, из которых вырос. Славка от радости, что у него штаны появились, плясал. Но когда в ответ на вопрос красноармейца Горка отрицательно покрутил головой и что-то невнятное промычал, Славка спрыгнул с печи и вытащил из сундука солдатские галифе, подал их пришедшему. Горка тогда злился, а Славка говорил, что самое главное – не штаны, а наша победа. «Вот видишь, мы победили! А и галифе тебе купили, а скоро и отец вернется. Он теперь, слава Богу, не под пулями, а новобранцев обучает», – примирительно сказала тетя Женя...





Многие жили тогда в землянках (фото из интернета)

Через несколько дней она помогла нам переселиться на новое место, в комнату двухкомнатной квартиры трехэтажного дома, который один из немногих в заводском поселке уцелел во время бомбежек. Большинство рабочих стекольного завода жили тогда в землянках. С нами в смежной комнате обитала учительница-математичка с пожилой сестрой, у которой погибли на фронте муж и сын. А с нами в комнате – только что окончившая ФЗУ молоденькая, всего на три года старше меня, рабочая Нинель, что значит Ленин наоборот. Имя это ей дали родители, оба партийные были, боролись за мировую революцию, а ее, а потом и ее младшую сестренку в основном воспитывала бабушка, которая жила в деревне где-то под Тамбовом. Отец с матерью работали в органах в самом Тамбове. А однажды, еще до войны, ночью отца выдернул из их городской квартиры черный воронок. С тех пор мама забрала к себе в город обеих дочек и бабушку. Сюда, к Волжской переправе, семья прибилась с потоком беженцев. Паром, на котором их переправляли на левый берег Волги, бомбили, и почти все, кто на нем был, погибли. Нинель уцелела чудом, ее, уже тонущую, кто-то выловил, ухватив за ее длинную косу...

Госпиталь, детский дом, учеба в ФЗУ... Понятливую и очень старательную девочку-сироту взяли рабочей в цех стекольного завода. Дали ей собственное жилье, койку в комнате вместе с нами и рабочую карточку с повышенным пайком за вредность.

Всего в комнате нашей было три железных койки, привезенных со склада завода. Оттуда же были и матрасы с подушками, набитыми просяной соломой. Спалось на них отлично. И вообще жилось нам там хорошо. Бабушкой были в конторе очень довольны, да и она хвалилась: работа совсем не то, что в школе, без нервов, среди уважительных людей. И голода мы уже не испытывали. На двоих получали 800 граммов хлеба в день! Да еще отоваривали продуктовые карточки... Правда, продукты часто давали не те, что значились в карточках: вместо масла – комбизир, припахивающий машинным маслом, вместо сахара – пряники или финики, которые никак не растянешь на весь месяц. Но по сравнению с Соколовкой это было земным раем... Из Соколовки приходила к нам раза два тетя Женя, радовалась за нас и рассказывала печальные новости: мужиков уж почти никого в живых, а похоронок все идут. И младенчики в деревне почти все поумирали. А девчата, которых срочно на земляные работы отправили, так в армии и остались, а в колхозе все уж почти бабы спины посрывали на лесозаготовках, еле держатся... И тягла прежнего нету. Лошадей или в армию угнали, или под нож.

И волам пополнения нет, всех бычков на мясо для армии. Колхозники на собственных коровах участки свои пашут...

Нам с Бабушкой тоже дали участок, километра за полтора от заводского поселка. Мы все засадили тыквой. До чего же интересно и приятно наблюдать, как крохотные зеленые комочки постепенно растут, растут и превращаются, наконец, в серые глыбы и глыбищи. В августе я это все стаскивала к нам в комнату, укладывала под все три кровати и еще в два пустых угла. Нинель мне всегда старалась помочь, и я ей сказала, что тыквы под ее кроватью – это ее. Мы с нею подружились. Я приходила в цех, меня как свою пропускали, и с интересом смотрела. Нинель стояла у самого конвейера, по которому двигались уже не красные, что прямо из печи, но все еще раскаленные банки, которые с помощью специальных щипцов можно было брать, снимать с конвейерной ленты, перемещать на другую ленту... Смотреть было ужасно интересно, хотя сама девочка очень жаловалась: у нее, когда конвейер шел без перерыва, ломило спину, сводило ноги и резало в глазах... Под конец смены она еле держалась. Ну а мастер по цеху ее хвалил за то, что убирала с ленты весь брак. А вечерами она еще и училась в школе рабочей молодежи, той самой школе, куда и я первого сентября пошла в третий класс. Учительница хорошая. Но самое главное, на большой перемене нас водили в заводскую столовую и кормили гороховым супом с кусочком хлеба... А после школы я приходила домой, и мы с Нинель готовили тыквенную кашу. Заготовленных тыкв нам хватит на всю зиму, считала я и ликовала... И в один из этих солнечных сентябрьских дней вдруг приехала Мама... Как я ждала ее все эти жестокие, нескончаемо длинные голодные дни, месяцы... А когда, наконец, она, моя любимая и ужасно долгожданная Мамочка, оказалась со мною рядом, то кроме огромнейшей радости я испытывала беспокойное чувство какой-то тревоги или, может быть, досады. Мама, уже не в туфельках или модных ботиночках, а в кирзовых сапогах и в казенной, защитного цвета куртке из парусины уже не была такой, как раньше – самой красивой в мире, но самой родной, самой любимой осталась... А тревожило меня то, что мама никак не хотела, чтобы Бабушка выписала бы для нее еще одну койку, и все повторяла, что надо как можно скорее ехать дальше, ее, начальника геологической партии, срочно посылают на восстановление Донбасса. Бабушка этим «ехать дальше», кажется, была сильно расстроена и, наверное, в мое отсутствие высказывала Маме свое недовольство, потому что однажды, когда я неожиданно вошла в комнату, Бабушка громко сморкалась в платок, видимо старалась скрыть свои слезы. Мама ей сказала: «Ну, если так хотите, оставайтесь здесь. Только Элю я заберу с собой!» И мне: «Поедешь со мной в Донбасс или останешься здесь?» – «Поеду, поеду! С Бабушкой! Только с Бабушкой!» «Вот и решилось», – почти шепотом произнесла Бабушка и закрыла лицо платком. Мама тоже плакала, но, как она сама сказала, от радости, от того, что дочка такая у нее... Очень благодарила и благодарила мою Бабушку. Я плакала тоже и очень горько. Только я никому не сказала о причине своих слез. А это были выпестованные мною, заготовленные на все время, до самой весны, мои светло-серые красавицы-тыквы... Мама и Бабушка даже переполошились: о чем я так горько плачу? А Нинель очень сочувственно на меня смотрела. Наверное, она одна и понимала причину этих моих слез. То, что эти тыквы перейдут во владение Нинель, утишало мое горе. С нею мы расстались друзьями...

В Донбасс через Сталинградское поле

«Сейчас будет ваш поезд. Не зевайте, а то будете еще несколько суток ждать, – сказала нам в Камышине дежурная по вокзалу, которая встречает и отправляет поезда, и добавила: как вот эти!» А «этих» был полон перрон. Узлы, чемоданы, женщины, старики, дети... Целые семьи. «Возвращаются домой. Некоторые уж неделю загорают. Поезда-то больше фронт обслуживают», – пояснила обстановку железнодорожница. «Но у меня командировка! Меня там оборудование ждет, срочная работа», – говорила мама. «У этих людей тоже важные бумаги: срочные вызовы, распоряжения начальника вокзала отправить немедленно... Но тебя я постараюсь запихнуть. Только сама не дрейфь...» Последние слова я еле услышала: подходящий товарняк со свистом спускал пар. Суровая женщина-проводник, прикрикнув на толпящихся у самого вагона людей, чтобы посторонились, с лязгом откинула щеколды, прижимавшие дверные затворы. И тут мама ринулась прямо в эти раскрытые двери. «Эля, Мама! Быстро за мной!» – кричала она. Бабушка, увидев полный вагон сидящих на полу людей, шарахнулась было назад, но железнодорожница, которая обещала нас отправить, протолкнула ее к самой двери. А мама со своим чемоданом и всеми нашими вещами уже забралась вовнутрь, и на нее отчаянно орала какая-то южного вида женщина с мальчиком. «Вы что, ослепли? Прямо по людям лезете! Ребенка не видите?!» – верещала она, показывая на мальчика примерно моего возраста. Другие молча ее поддерживали, не желали нам уступить ни чуточки места, сидели, будто приклеенные. «А это не ребенок разве?» – кричала в ответ моя Мама. Я смогла поставить только одну ногу и еле держалась, чтобы не упасть на чью-то мирно сидящую бабушку... Но вот дверь вагонную громко задвинули, снаружи защелкнули, и я почувствовала, что падаю: вагон дернулся, и, медленно ускоряясь, застучали колеса. И тут же кто-то силой вернул меня в стоячее состояние, но уже на полу были обе ноги, и еще образовалось свободное место. Мама из глубины вагона смогла пробраться ко мне и даже поставить рядом свой чемодан. А потом к нам протолкнули и Бабушку с ее круглой, золотистого цвета шкатулкой, в которой когда-то ее свекровь Бабуня привезла из Парижа модную шляпу, а сейчас были в ней сложены все наши с Бабушкой пожитки... Бабушка положила на нее свою не единожды латанную светло-коричневую в клетку накидушку, которую держала в руках, и кряхтя опустилась сама. А рядом на своем чемодане уселась мама. И они обе уложили на себя меня, и бабушка сказала мне, что надо хотя бы чуток поспать, и тихонько стала что-то напевать... И я уснула. А проснулась от железного скрежета тормозов и всеобщей суматохи. По рупору объявили, что стоять будем час и что в кране рядом с железнодорожной будкой есть кипяток.

Прямо из вагона можно было видеть поле, огромное, до самого горизонта – и ни единой свободной площадочки или даже клочка вольной земли, все усеяно покореженной техникой. Красные звезды, белые и черные фашистские свастики... Все вперемешку. Врезавшийся в землю самолет и рядом тоже стоячая бронемашина, «в обнимку» с торчащими из земли гусеницами танка... И горы колес, железных обломков и солдатских касок...



Сталинградское поле, начало августа 1944 г. (фото из интернета)



Горы солдатских касок (фото из интернета)

Взрослые сходили по очереди, помогая друг другу, а мы – я и девятилетний Эдик, сидевший со своей мамой на огромных, зашитых в парусиновые чехлы узлах, как и другие бывшие в вагоне дети, лихо спрыгивали на железнодорожную насыпь. И у нас было желание, присущее всем абсолютно людям, вынужденным длительное время воздерживаться от самых естественных потребностей. Впереди по ходу, ближе к паровозу, маячила желанная будка с двумя хвостами очередей к ней. Далеко! Мы скорее помчались к танку, врезавшемуся гусеницами глубоко в землю, за которым уже скрылась Бабушка. Меня остановил истощный крик Мамы: «Мины! Наза-ад»! Остановившись, я прямо перед собой прочитала написанную черной крас-

кой надпись: «Стоять! Мины!». Оглянувшись, я увидела такие же столбики с прибитыми к ним досточками-объявлениями о минной угрозе. А между тем Бабушка, довольная, вернулась и, сказав, что танк действительно весь обложен, но не минами, а «ароматными визитками», создала мне «условия», отгородив своей широкой юбкой от посторонних взглядов. Да никто и не смотрел. Каждый был занят своим, приседая возле самого железнодорожного полотна...

Мама Эдика дала нам чайник и послала нас вдвоем за кипятком. Мы подружились. Эдик рассказал мне, как однажды он вместе с двумя дедами ходил рыбачить на Волгу. Поймали столько, что он такого количества в жизни не видел. А потом почти все отдали в госпиталь: там у одного из дедов лежал раненый сын. А я рассказала, как в Соколовку пригнали верблюдов. Они стояли в загоне, дожидаясь переправы, и мы их очень дразнили. А потом паром с ними фрицы разбомбили, и верблюды погибли, а мы по ним очень горевали...

Мама Эдика спросила нас, будем ли мы пить чай из травок, и всыпала их прямо в чайник. Мы пили травяной чай из солдатских кружек, прикусывая его ржаными сухариками и кусочками подсушенной печеной тыквы. Бабушка угостила тыквой Эдика и его маму, а та дала нам три леденцовых конфетки, а потом мордастая тетка, сидящая справа, та самая, что была похожа на ведьму и дико орала, стараясь не пускать нас в вагон, с мирной улыбкой тянула к нам свою большую руку с угощением – пресной лепешкой, которую она называла мацой... Вскоре мы перезнакомились: почти все обитатели вагона были евреями и возвращались из эвакуации, из Саратовской области, к себе на Украину. Нам они удивлялись, что едем почти без вещей, все допытывались, куда мы их дели. А потом бабушка рассказывала, как мы все, что было у нас, постепенно выменяли за продукты. А одежда – дело наживное. Тоже и мама сказала, что главное, что живы мы, а одежду – как приедут на место, все получают спецовку... И это правда. В Донбассе нам с бабушкой, как членам семьи геологической экспедиции, выдали ватные ушанки, фуфайки и парусиновые ботинки. Все, кроме шапок, было огромного размера и болталось на мне, как на вешалке. Правда, фуфайку бабушка предельно обузила «по фигуре» и только с рукавами не ладилось: они, как два огромных хобота, свисали чуть ли ни до самого пола. Бабушка и рукава укоротила. Она все-все умела делать: и шить, и гадать, и сказки рассказывать... И утешать, если у кого горе. А оно кричало, выло и, стиснув зубы, молчало в каждой семье...

Здесь, в вагоне, Бабушку мою вскоре обступили женщины, молодые, пожилые и совсем юные, просили погадать на червонного короля. И только одна, светло-русая с голубыми глазами на красивом лице, тоже еврейка, стояла рядом и угрюмо молчала.

Про нее мы потом узнали: одна она осталась... Муж, брат, старший сын погибли на фронте, а жена брата с детьми решила не уезжать из родного селения, где-то в Сумской области. Полон дом детей у нее, да огороды, да скотина... Предложила она и золовке своей, этой вот самой женщине, дочку свою в их семье оставить... Когда немцы всех евреев сгоняли, а их в том селении несколько семей было, дочку этой женщины тоже сперва забрали, а потом немец ее, голубоглазую, светленькую, из того загона взащей прогнал... Соседи украинцы ее приютили. Так через пару дней, когда родню ее угнали уже, убили, наверное, один из сельчан, пожилой, тоже украинец, заявился в комендатуру, сказал, что та девочка с голубыми глазами – еврейка. Взяли и ее... И ведь никакой выгоды от этого не было иуде старому... Хотел было с немцами бежать, да кто-то, наверное сами немцы, пристрелили его как собаку, валялся он за деревней прямо на дороге...

Поезд вскоре снова остановился, и снова перед нами сплошь покрытое покореженной и местами проржавелой военной техникой Сталинградское поле и диковинного вида черные руины Сталинграда на самом горизонте. И такие же столбики с дощечками и предупреждающими надписями на них: «Осторожно: мины!» Поезд медленно двигался, больше стоял, чем шел. И на всех стоянках мы с Эдиком бегали за кипятком, и не только себе, но и другим, кто просил...

В Дебальцево прибыли мы утром на третьи сутки. Поразило меня множество рельсов и огромный мост, точнее почерневший остов моста над ними, и еще зубчатые, похожие в утренней полутьме на какие-то причудливые замки, руины города...

Мама уже сходила в просторную деревянную будку, служившую вокзалом вместо разбомбленного, закомпостировала билеты в город Алчевск и повела Бабушку по нужде, наказав мне смотреть за чемоданом. Я смотрела, не отрываясь, и вдруг увидела, что чемодан исчез...

Мама горько плакала. Люди ее утешали: все Ваши с Вами, а вещи, даже самые дорогие – наживете еще. «Там не вещи были, там дневники мои... За много лет», – призналась мне Мама. Я очень хотела, чтобы она перестала плакать, до этого я никогда не видела ее слез. «Что мне сделать, чтобы ты засмеялась?» – спросила я ее, чтобы успокоить. «Начни писать дневник», – ответила она «А вот и начну! Только покажи, как его и на чем пишут», – сказала я. И Мамочка моя рассмеялась. Но потом дала мне небольшой блокнотик, почти уже весь израсходованный, и, уже успокоившись, рассказала, как это делается.

В Алчевске

Наконец, город Алчевск. Мы очень удивились тому, что город почти нисколько не пострадал от войны – уютный, зеленый.

Писать свой дневник начала я сразу, как только мы в Алчевске поселились на квартире у Дегтяревых, у которых было две комнаты и трое детей. Правда, старшая, черноволосая красавица Люба, которая уже училась в техникуме, домой только навещалась, а жила у подруги. А ее сестра Таня, девочка моих лет, и трехлетний Андрюша расположились в комнате-кухне, а нас поселили в горнице, большой и холодной. Нам, правда, разрешалось открывать дверь, и мы впускали тепло и вдыхали ароматы готовящейся еды: украинского борща и разных каш, чаще всего из кукурузной крупы. Особенно нравился мне запах луково-помидорной заправки для борща: напоминало запах мяса, которого мы не ели очень долгое время. Мы тоже на той плите готовили, когда было из чего, а ели в своей комнате за большим столом. И когда случилось у нас что-то вкусное, например, картофельный суп с лапшой, к нам в холодную комнату приходил совершенно голый и босой Андрюша и радостно провозглашал: «А я – вот он!» – и при этом в руках всегда ложку свою держал. Бабушка называла его молодцом, протирала влажным полотенцем его всегда теплые ладошки и сажала за стол...

Был в нашей комнате еще и другой стол, поменьше. На нем всегда кучились мамины бумаги, которые строго запрещалось трогать. Мама работала за ним вечерами и писала в самодельную тетрадку. Мне она тоже выделила немножечко казенной бумаги, предназначенной для записи геологических съемок. Бабушка сшила мне из нарезанных листочков этой бумаги тетрадку, и я тоже писала дневник. Я вспоминала и описывала, как мы ехали. Мама похвалила меня, назвала «писателем» (после сказала, что это шутка), и я решила написать рассказ, который назвала «Партизанка». Живьем партизан я не видела, но много читала о них и очень гордилась подвигом Зои Космодемьянской... Описывая подвиг девушки Ани, героини моего рассказа, я, кажется, о всех пытках написала, о которых читала или слышала по радио. Этими пытками мучили фашисты нежную девушку, а она героически молчала... Писала и заливалась слезами. А потом прочитала свой рассказ хозяйской девочке Тане. Плакала и она. А бабушка по-доброму улыбалась и гладила по голове, и только мама сказала, что надо писать о том, что увидишь собственными глазами, и посоветовала рассказов больше не писать, а только дневник. А мне, помню, дневник вести вовсе неинтересно было, и писала я его лишь ради Мама, и то далеко не каждый день. Старалась притом записи делать как можно короче, потому что мерзли руки и без конца хотелось есть...

На городском базаре можно было купить муки. Самой выгодной была кукурузная. Из нее варили мамалыгу, то есть жидкую кашу, которую потом заливали в миски или тарелки, где она застывала, и ее можно было резать как холодец. Двенадцатилетняя Таня эту мамалыгу носила продавать на маленький рабочий рынок рядом со столовой, где работала посудомойкой ее мама. «Из одного стакана муки получается четыре порции мамалыги, за которые, если продать, можно потом купить целых четыре стакана муки», – говорила она мне.

Однажды, когда Мама была в командировке, мы с Бабушкой решили попробовать: купили на последние деньги пять стаканов кукурузной муки и, посчитав ожидаемую прибыль, сварили большую кастрюлю мамалыги. Потом разлили ее по столовским мискам, которых у хозяев наших было много, и оставили остывать. Получилась полная корзинка целых и половинных кругов мамалыги, которые мне предстояло продать.

На базарчике мы с Таней стояли рядом, и ее мамалыгу хорошо брали. А у меня купили только одну половинку. Таня успокаивала: ничего, сейчас кончится смена и придут рабочие, купят и твою... И вдруг она же: «Мамалыгу спрячь! Скорей!» И тут я увидела мальчишек в казенной серой одежде с бледными худыми лицами и голодным блеском в глазах... Когда

я поняла и начала было убирать в корзинку свою мамалыгу, разложенную на постеленную прямо на земле газету, множество рук завертелось, заплясало прямо у меня перед глазами. Исчезла газетка с нарезанными кусками, опустела корзинка, а мальчишки вмиг умчались. Я видела, как один из них убегая запихивал себе в рот мою мамалыгу... Бабушка меня утешала, а Танина мама налила нам целую миску замечательного украинского борща. А вскоре вернулась из командировки Мама и сказала, что ее геологическую партию посылают в Мариуполь, и там получим мы комнату, свою, без всяких хозяев. А перед этим у меня еще была одна неожиданная радость: в алчевскую школу №3, где я училась в третьем классе, привезли детские вещи, одежду и обувь, подарок от английских рабочих. Тех, у кого погибли на войне отцы, вызывали первыми, и они могли себе подарок выбрать. Я была в числе семерых счастливиц и могла выбрать себе туфли или платье. Выбирать было мучительно, потому что не было у меня ни настоящего платья, ни туфель. Я выбрала платье, шерстяное, коричневое, красивое, которое было мне довольно велико, что обрадовало мою Бабушку. Она сказала, что мне еще расти и расти, и платье это будет мне впору. Ну, а в парусиновых ботинках – я решила, что еще похожу...

Мариупольские руины и рынок, ордер на комнату. Семиряга. Третий раз в третий класс

Мариуполь поразил меня своими руинами и сказочно богатым базаром. Длиннющие базарные полки ломились от съестного. Настоящие белые булочки, кринки с арьяном под аппетитно запеченной пенкой, соленые огурчики и запеченные куски рыбы, блюда с тюлькой самого разного посола и свежайшая рыба, которую продавали сами рыбаки. Мы купили крупную сулку с красными жабрами и «свежими», то есть незамутненными глазами, и пошли в контору крупнейшего завода «Азовсталь». Маме выдали обещанный ордер на комнату в квартире дома заводского участка №2. В ту пору, в марте 1945 года, было на втором участке всего четыре четырехэтажных корпуса одного-единственного дома. Комната наша обозначена в третьем подъезде на четвертом этаже первого корпуса. Пришли туда, а там живет какая-то тетка и не хочет нас пускать. У нее маленькая комнатка рядом, а она захватила обе, свою и нашу, а потом, когда мама стала требовать, эта тетка сказала, что так и быть, отдаст нам одну и предложила свою маленькую. И тогда вышла в коридор соседка из еще одной маленькой комнаты и стала тетку, захватившую нашу большую комнату, стыдить. В конце концов мы в свою большую комнату вселились. Первую ночь спали все кучей на полу, прикрываясь своими одежками и соседкиным очень истертым, но все равно замечательным ватным одеялом. Мы были счастливы: наконец-то никаких над нами хозяев, мы сами – владельцы нашей комнаты! А на другой день Мама с утра пошла к заказчику своей геологической партии, начальству завода Азовсталь, и нам в тот же день привезли и поставили три железных койки и к ним три настоящих ватных матраса и три – тоже ватных – подушки, и еще квадратный стол и четыре стула. А потом очень высокий и очень худой рабочий из маминой геологической партии по фамилии Семиряга притащил со склада огромный узел с одеялами, простынями-наволочками и большущие алюминиевые кастрюлю, сковородку и чайник... А после еще тот же Семиряга раздобыл где-то и принес нам целую большую охапку дровишек и помог Бабушке растопить нашу плиту... В плите загудело, в комнате стало почти тепло, а Семиряга все продолжал держать над раскаленной плитой свои огромные ладони, а потом уселся рядом и спросил у Бабушки, можно ли ему у нас немного побыть, потому что нет сил подняться, так как он сегодня, да и вчера тоже, ничего не ел.

А у нас тогда не было хлеба, не успели еще карточки получить, но было немного кукурузной крупы, и была сулка, которую мама, перед тем как бежать по делам, сунула в ванную комнату, которая служила общей кладовкой. Бабушка об этом вспомнила и решила отрезать у сулки голову и хвост, чтобы что-то сварить нам и хоть чуточку покормить этого Семирягу, чтобы у него появились силы подняться и уйти. Однако для супа нужна вода, а ее не было. За водой люди ходили во двор, где была колонка. Вода была чуть солоновата, но в супах и кашах это терялось, а за водой для питьевого кипятка, чая, ходили в старогреческую деревню, где совсем рядом с морем находился глубоченный бакай (маленькое, вытянутое вдоль берега моря озерцо с чистейшей ключевой водой). Суп – рыбью голову и хвост, залитые водой из колонки, бабушка, посетовав на то, что нет ни лука, ни картошки, заправила кукурузной мукой, так что получилась жидкая каша, наподобие мамалыги. Мне и себе Бабушка дала по маленькой мисочке, а этому дядьке – целую большую мисичу. Мы еще ели весьма непривычного вкуса суп, а Семиряга уже и доньшко облизал, демонстративно так. И Бабушка налила ему еще. И он снова – хоп – и нет супа. А потом и еще налила добавки, а когда спохватилась, супа осталось на самом доньшке. А Семиряга и не думал уходить, сидел, вытянув к печке свои длинные ноги, довольный, как кот: вот-вот замурлычет... Рассказывал о себе.

Родом из рыбацкого поселка где-то за Енисеем. До войны рыбачил, охотился. Даже и на медведя ходил. А потом на фронт призвали, и он в пулеметных войсках был. Бывало, что

там, где и лошадь не утянет, он из грязюки орудие вытаскивал, и вместе с лошадью. А потом контузило его, и все перед глазами черным стало. И долго не слышал ничего. А память и до сих пор не вернулась вполне. Помнит, что дом их бревенчатый стоял на краю поселка. А какого, как назывался поселок, не помнил. И жены имя забыл. Тоже и детей... То ли трое их было, то ли четверо. И как кого звали? Да он и себя не помнил, как звали, а только это: Семиряга... То ли прозвище это, то ли фамилия. А документы все потерялись.

Мы с Бабушкой ему очень сочувствовали, но с нетерпением ждали, когда он уйдет, потому что бабушке надо было из геологической бумаги сшить для меня целых три тетрадки, а мне – собраться в школу, которая, как мы уже знали, находится на третьем участке в двух километрах от нас.

Семиряга ушел, скорее даже выскочил, когда Мама появилась в дверях: «Он должен был после обеда с рабочими шурфы копать. И взять пробы керна. А он...» «Он был очень голодный!» – вступилась за Семирягу Бабушка. Мама бабушке немного за этого Семирягу попечняла, что, мол, нельзя привечать кого хорошо не знаешь, а об этом человеке известно лишь то, что сам он о себе говорит. А он порой вообще лепечет что-то невнятное... Сразу же скажу, что если бы не Мама, быть бы этому Семиряге, этой, скорее всего, безвинной жертве войны, за колючей проволокой, где-нибудь в ГУЛАГе вместе с такими же, как он, «утратившими доверие страны» бедолагами... Мама, еще работая на Урале в так называемой зоне, добила, чтобы этого рабочего зэка, которого давали геологам по разнарядке, перевели бы в геологоразведочную партию на постоянной основе.

Мама попробовала суп, который почти целиком поглотил Семиряга, и поморщилась, однако подъела все и стала на новой сковородке жарить сулку, благо сегодня ей удалось не только получить хлеб за целых два дня, но и отоварить комбижир и конфеты-подушечки.

Мы пировали!

А наутро Мама отвела меня в школу, уже третью за 1944—1945 учебный год.

Я все еще в третьем классе, на этот раз в настоящей школе, за настоящей партией. Нас в классе 25 девочек. Мальчишки учатся в той же школе, но в другой части этого большого трехэтажного здания, которое перегороджено на две половинки: школы женскую и мужскую. Вход в здание тоже отдельный, а школьный двор – огромный, огороженный невысоким штакетником – общий. Во дворе две спортплощадки: для девочек с волейбольной сеткой, а для мальчишек – с футбольными воротами. Играли мы, однако, все вместе, а старшеклассники еще и «крутили любовь». В нашей половине здания кроме просторной раздевалки был еще и большой спортивный зал с еще невиданными мною гимнастическими козлами, лестницами и другими снарядами, и еще была школьная столовая, где нам на большой перемене давали суп, обычно гороховый, и перловую или кукурузную кашу с комбижиром. Дома мне Мама сказала, что такой, как наша школа, нет во всем Мариуполе, потому что у нас шефы – завод Азовсталь.

В первый же день я подружилась с очень хорошей девочкой Валею Маликовой, мы с ней сидели за одной партией. А однажды после школы я пошла к ней в гости, чтобы вместе историю учить, потому что у нас один учебник на двоих. Жили они с мамой в том же доме и тоже на четвертом этаже, только в другом корпусе. Окна их выходили на море. Красота невероятная! Мы никак не могли оторваться и взяться за учебник...

А на улице уже сирень зацветала и всю щебетали птицы, и было очень радостно от того, что мы наступаем. Как обычно, каждое утро ловили мы голос Левитана: «От Советского Информбюро». Красная армия уже давно за границами СССР, уже почти всю Европу освободила, а война все длится, и все приходят похороны. Тоже и Левитан после слов о победах и освобождении перечисляет имена погибших, командиров, конечно. А погибших солдат всех и не перечислишь, их много.

Кончилась война

Утро 9 мая началось как обычно с голоса Левитана, четкого и торжественного:

«Приказ Верховного Главнокомандующего...

8 мая 1945 года в Берлине представитель Верховного Командования подписал акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны.

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва салютует доблестным войскам Красной армии, кораблям и частям Военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да здравствует победоносная Красная армия и Военно-морской флот!»

Голос Левитана, который напряженно и в полном молчании слушали обитатели нашего дома, вдруг потонул в радостных криках «ура» и звуках надрывных рыданий... Люди обнимались, поздравляли друг друга с Победой и плакали...

Вот запись от 10 мая 1945 года из моего дневника.

«Вчера кончилась война. Орали репродукторы на всю улицу, а у нас во всех комнатах тихо всхлипывали: у тети Веры — похоронка на руках, а у тети Маши — ни похоронки, ни письма вот уже четыре месяца... Баба тоже поплакала. А потом давай на Маму наседавать: «Скорей надо в свою квартиру ехать, в Покровское-Стрешнево». — «Да ведь нас не пустят в квартиру. Там живут. Эн-ка-вэ-дэиник!» А Баба не сдается: «Хоть в коридоре будем. А то куда же Владик вернется?» — и плачет. Мама тоже слезы вытирает, но так, чтобы не видела Баба. Владик, родной мамин брат, пропал без вести с весны сорок второго. Должно быть, погиб. Тогда почти все ополченцы погибли... Но Баба уверяет Маму, что Владик живой, она это сердцем чувствует. Кое-как Мама Бабу успокоила: на тот случай, если вернется Владик, она предупредила Софью Абрамовну, соседку нашу, и друга. Оставила ей наш мариупольский адрес.

К вечеру в комнату к нам одна за другой шли соседки и другие женщины. Все зареванные. С виноватыми улыбками просили Бабу «кинуть карты». Баба раскладывала карты и каждую по очереди уверяла, что живой, что придет... Успокоенные соседки наприносили конфеток. Накипали чаю и весело стали друг другу поздравлять с концом войны. А потом песни пели и снова плакали».

(Опубликовано в книге: «От советской пионерки до челнока-пенсии» (Мой дневник)», М., «Сатурн С» 2000 г.



Кончилась война (фото из интернета)

Американские подарки – коробки со сладким мясом

Я и мои ровесники, все ожидали какого-то радостного чуда, о котором мечталось еще в Соколовке: вот кончится война – наедемся вдоволь: хлеба, мяса, сосисок... Чего только не рисовалось нашему голодному воображению! А мы после Победы все продолжали получать буханку хлеба с маленьким довеском на семью в день и пятьсот граммов сахара и жиров, и по килограмму круп на человека в месяц. Правда, к этому прибавились американские подарки – картонные коробки со съестным. У меня все внутри замирало, когда их открывали. Пачки с галетами, банки с маринованными огурчиками, всевозможные пудинги в ярких упаковочках и, наконец, объемистая металлическая банка с изображением на ней очень аппетитного мяса. Мама открыла эту чудесную банку специально приделанным к ней ключиком, и вот это дивно привлекательное мясо у нас в мисках. Я положила в рот небольшой кусочек и сейчас же его выплюнула: вместо ожидаемого мяса – какое-то сладкое, резко пахнущее чем-то нездешним его видимое подобие. Есть такую гадость? Было очень обидно, и я заплакала. Мама старалась меня утешить, говорила, что это у них – у американцев – деликатес, мол, она где-то об этом читала. И что у нас просто привычка к другому мясу... И даже показывала на собственном примере, что есть его можно. Однако в ее глазах я видела слезы. И только Бабушка бодро сказала, что ведь эти мясные кусочки можно залить водой, и сахар из мяса уйдет... Однако сахар так и не ушел. И мы, крепко посолив и помазав сладкие кусочки горчицей, все же съели это американское мясо. А Бабушка еще долго старалась «объяснить» американцам, какой должна быть их продуктовая посылка: вместо пудингов, кексов и крекера – муки или крупы манной, а вместо сладкого мяса – сухой колбасы или обычной мясной тушенки. Да и овощей маринованных не надо, а лучше бы свиного салца, если у них оно есть... Конечно, все эти пожелания так и повисли в воздухе одной нашей комнаты, а в подарочной американской коробке, которую выдали нам и в следующий месяц, снова были пудинг и кексы в ярких обертках, и было сладкое мясо. Но это уже не было для нас горькой неожиданностью, и мы приноровились его съедать.

Кормились морем, согревались потихоньку взятыми со стройки деревяшками и предназначенным заводу «Азовсталь» антрацитом

А с наступлением лета мы стали кормиться морем. В нашем подъезде этажом ниже проживала моя подружка Тоня. Мама ее работала посудомойкой в заводской столовой, и у них в дополнение к обычному пайку случались объедки, которые на самом деле объедками не были, потому что в столовой съедалось все подчистую. А были это припрятанные поваром и заводской сэкономленные вареные овощи и даже кусочки жилистого мяса, предназначенного для борща, а также и бывавшая по праздникам выпечка. Из всего этого порой перепадало и посудомойке Евдокии, работающей и доброй Тониной маме, а она нередко делилась с нами: по воскресеньям приносила какой-нибудь съедобный гостинчик и просила Бабушку ей погадать. Похоронка ей на мужа и Тониного отца пришла еще в начале войны, но она все надеялась на чудо и просила кинуть карты как на живого червонного короля. По картам и впрямь выходило все хорошо: перед червонным королем – дальние дороги, и пока не домой... И Евдокия, всплакнув, показывала уже в который раз фотографию, где рослый молодой мужчина прижимает к себе неказистую Евдокию... Тоня, по словам тети Дуси, была живой копией отца: светло-русые волосы, голубые в темных ресницах глаза, прямой носик и чистый овал лица. При этом очень деятельная, мамина помощница. Однажды она позвала меня идти за тюлькой на море. Там, прознала она, рыбаки пригоняют полные лодки тюльки и потом лопатами перекидывают ее в специальные металлические ящики, которые затем отвозят на консервный завод. А в лодках, глубоких и длинных, остается еще столько этой рыбешки, что хватает на всю ватагу набежавших с самодельными ведрышками мальчишек и девчонок. Мы с Тоней чистили, то есть освобождали от тюльки, налепившейся ко дну и к высоким бортам, лодки, складывая эти остатки себе в ведрышки, которые сделаны были из больших консервных банок. Тары нам не хватило, и остатки пришлось бросить крикливым и вечно несатым чайкам. А лодку полагалось еще и как следует помыть тряпками. Дома эту тюльку мы, чуть присолив, ели сырой. А на следующий день снова поход к морю, и снова полные ведерушки тюльки. А потом Тонина мама решила, что тюльку надо солить и блюдечками продавать на нашем рабочем базарчике...

И вот мы с Тоней стоим на базарчике по обе стороны темноволосой беременной тети. Блюдечко с тюлькой она держит у себя на огромном животе. А наши блюдечки – на постеленных прямо на земле тряпочках. Покупатели – заводские рабочие. Пробуют тюльку у всех, а покупают у Тони, а у меня попробуют и плюются: пересолено... Я попробовала тюльку у моей подружки – малосоленая и чуточку с тухлинкой. Домой Тоня пришла с пустым ведерышком, а у меня было почти полное... Решили в следующий раз поменьше солить. И опять лучше всего брали у Тони, хотя тюлька наша по вкусу была одинаковой: всю рыбку солила Тонина мама. Решили мы с Бабушкой еще меньше солить и чтобы побольше было тухлинки. И вот снова стоим. У меня тюльку один дядька попробовал и покрутил головой, а купил у Тони. А другой дядька понюхал и целым блюдечком мне в лицо залепил: «Сама тухлятину свою ешь!» Тюлька у меня на лбу, в волосах... Мухи на меня ринулись... Дома Бабушка сказала, что перестарались мы в малосолении: от тюльки разило тухлым яйцом и ее пришлось выкинуть. А мне Бабушка помыла голову мылом со щелоком.

Не умру я!

А вскоре я заболела. После простуды, которая быстро прошла, я вдруг почувствовала, что у меня болит подмышкой. Там выросла гуля величиной с куриное яйцо. И по вечерам поднималась температура 37,5 и познабливало. Мне к подмышке ставили припарки – нагретые до горячего отруби, соль, золу... Ничего не помогало... И мне велено было лежать и лежать. Тоня навевдалась ко мне каждый день и приносила гостинчики: морковку, яблочко, огурчик... А я ей читала книжки. Она любила сказки о прекрасных царевнах, но сама не читала. Бабушка за нами приглядывала и вдруг сделала «открытие»: Тоня совсем не умеет читать. У нее была, оказывается, феноменальная память, она помнила слово в слово целые страницы... Бабушка взялась ее учить... И вот уже все пошли в школу, а я все лежу, болею... И однажды посетила нас медсестра. Осмотрев меня, она наклонилась к Бабушке и зашептала ей на ушко, что Эля, то есть я, уже не встанет и скоро умрет... И Бабушка, поняв, что я все слышала, скорее ее прогнала, а сама села за шитье, и я видела, как она почти беззвучно плакала. Мне стало ее ужасно жалко. «Не умру я! Вот увидишь, не умру. Завтра же встану!» И на другой день я действительно встала. Ночью сошло с меня «семь потов», и наутро была нормальная температура и перестало болеть подмышкой. Зато из случайно содранной маленькой болячки вдруг начал выходить густой желтоватый гной. «Много и совсем без крови!» – радовалась Бабушка, а я почувствовала дивную легкость в теле и встала... И захотелось скорее на улицу: бегать, прыгать, летать...

В школе было интересно: в пятом классе разные учителя. Все хорошие. Больше всего мне нравились языки: украинский, французский и, конечно, русский. Учительница по русскому языку и литературе Любовь Демьяновна стала первой моей любовью, нежностью и даже страстью. Вот запись из дневника за 16 января 1947 года.

«В первый раз я пишу о ней, хотя думаю каждую минуту. Она — мое солнышко, мое море, моя мечта. Как бы я хотела быть сильным рыцарем, свершать подвиги, защищать ее и ловить на себе ее нежность! Она читает стихи, она много нам читает стихов и смотрит куда-то вдаль. Меня совсем не видит... У нее красивые платья с острыми плечиками и кружевными воротничками. Она и сама, кажется, сделана из кружев, из заморской туманной дали. Она читает стихи Блока о «Незнакомке», а мне думается: стихи о ней самой.

*...Дыша духами и туманами
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И страшной близостью закованный
Смотрю на темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.*

Я попросила у нее стихи переписать. Она посмотрела на меня так внимательно, нежно и вдруг провела своей ручкой по моим жестким волосам: «Золотые волосы!» — сказала и ласково мне улыбнулась. Я всегда помню ее

улыбку...» (Э. Филипович, «От советской пионерки до челнока-пенсионерки», стр. 13, М., «Сатурн С», 2000).

Я окончательно выздоровела и все время чувствовала ужасный голод. К тому же все время было очень холодно. В школе топили чуть-чуть. А в доме, где мы жили, не топили вовсе. А рядом с нашим двором стоял одноэтажный домик с тремя кирпичными стенами и полуразрушенной четвертой, без крыши, без окон и дверей... То ли разрушенный, то ли недостроенный. И рядом с ним высоченная труба и огромная куча слежавшегося мелкого угля. Это была котельная, которую все обещали вот-вот отремонтировать, но на нашей памяти, а мы жили там чуть более двух лет, так и не сделали ничего... Были дела поважнее: восстанавливали главную доменную печь на заводе, а в поселке рядом с нашим возводили новый дом для рабочих. Строили его пленные немцы. На работу, с работы, в столовую шли строем под конвоем. Конвоиры рядом с ними казались низкорослыми и какими-то весьма озабоченными. А немцы все с довольными лицами, особенно после посещения столовой, и всегда пели. О чем пелось в песне, мы не понимали, но припев ее помнится до сих пор, и притом в оригинале:

Айли, айле, айля!
Айли, айле, айля...
Айли! Айле! Айля, айля, айле!

К дому, который строили, мы с Тоней ходили за дровишками, точнее деревянными строительными отходами. Нам их пленные подносили к самой оградке, то есть остистой проволоке. Однажды набрали мы этих дровишек полные сумки. Дома закутанные от холода Мама и Бабушка обрадовались дровишкам, давай скорее вынимать их из глубины сумки. И вдруг отпрянули обе, а у Мама лицо вдруг побелело, как стенка, и молча она на дощечку показывает, которую я принесла. «Стой! Стреляю!» – написано было на дощечке...

Основным топливом, однако, были не дрова, а уголь. Огромная куча угля лежала никем не охраняемая в нашем дворе, рядом с полуразваленной котельной. Однако в основном это была смешанная с угольной пылью порода, которая в печи только слабо тлеет, не давая тепла. А настоящий уголь, антрацит, который горит так, что плита краснеет от жара и в комнате становится тепло, лежал поодаль от дома, вдоль рельсов, ведущих к мартеновским печам завода «Азовсталь». Но к нему приставлен был сторож с винтовкой, чтобы ни в коем случае замерзшие жители не воспользовались им. Антрацит был предназначен не для людей, а для плавки металла – мощи страны.

Бабушка моя по ночам стонала от боли. Да и днем ее мучил ревматизм, который особенно проявлялся, когда в комнате было холодно. Поэтому я вместе со своей подружкой Тоней темными вечерами ходила по уголек. В моем детском дневнике хождениям по уголек посвящены многие страницы... Гораздо меньше писала я о школе, хотя учителя мне нравились. И когда маме пришла телеграмма от начальника экспедиции Фоменки с требованием немедленно выезжать всей геологической партией в Артемовский район в село Покровское, мы с Бабушкой захандрили. Бабушка – оттого, что снова будем жить у кого-то на частной квартире, а я – из-за предстоящей разлуки с любимой учительницей по русской литературе – нежно красивой, как мечта, Любовью Демьяновной.

Украинское село Покровское, украинская школа

В село Покровское мы прибыли ранней весной перед самым началом школьных каникул.

На станции Деконская вблизи города Артемовска нас ожидала геологическая полуторка. Контора экспедиции находилась в самом начале села, которое протянулось более чем на семь километров вдоль заросшей камышом речки Горелый пенёк. Хаты, побеленные глиняными мазанками, крытые очеретом, то есть местным камышом, отделенные друг от друга садами-огородами, красиво расположились по обе стороны реки. Окошками хаты смотрят на улицу, а огороды и сады за хатами уходят к реке или, напротив, взбираются кверху, к самому подножию гряды невысоких серых холмов. Холмы все изрезаны глубокими оврагами, в которых полно еще было таявшего снега. А на улице – грязюка, не пройти. Нас поселили в хате, где жили две сестры: с белым рыхлым лицом и расплывшейся фигурой Катерина Озерова и загорелая, с большими руками и широкой рабочей спиной ее младшая сестра Наташа. Обе работали в геологической экспедиции, поэтому нас приняли как своих, уступили нам комнату с отдельным входом, в которой уже приготовлены были взятые со склада экспедиции железные кровати, ватные матрасы, подушки и теплые стеганные одеяла.

Все бы хорошо, но школа – аж за семь километров в соляном шахтерском поселке им. Карла Либкнехта. А в Покровском – только украинская школа, зато на большой перемене дают горячий приварок. Мама повела меня в украинскую школу. Шли мы целый час, то и дело увязая в красновато-желтой глинистой грязи. Ботиночки мои промокли, и мне разрешили их снять и приложить к печке. Сама школа представляла собой просторный одноэтажный дом с тремя большими светлыми комнатами и четвертой комнаткой поменьше, не очень светлой, но зато самой теплой. Здесь когда-то жил священник с семьей и была приходская школа. Сейчас, то есть весной 1947 года, во всех комнатах были классы: пятый, шестой, седьмой и десятый. Восьмой и девятый учились во вторую смену. Нас в пятом классе было человек тридцать, а в десятом всего семь учеников. Держались они по-взрослому солидно и отстраненно и к нам, младшим, относились как к детям, а мы к ним почтительно и с интересом. Мы знали их всех поименно, а потом знали их дальнейшую судьбу. Например, нам было известно, что две девушки, бойкая черноглазая Катя и ее подружка, рослая, чернобровая и тоже красивая Нина, после школы поступили в двухгодичный педагогический на факультет по украинскому языку и литературе, с отличием его закончили и уехали работать учительницами...

В классе меня посадили рядом с теплой печкой и вместе с красивенькой светловолосой девочкой Аллой. А за нами сидели два хлопчика – черноволосый Жан и рыжеватенький Микола, оба худые, большеглазые и почти на голову ниже нас с Аллой ростом. Микола дергал нас за косы, а Жан сидел сонный. Алла сказала, что у Жана дома совсем нечего есть. Карточки в селе не дают, и малые ребята, те, что в школу не ходят, пухнут от голода и помирают. А в школу почти все ходят только ради локшаны, т. е. лапши. Локшану вместе с водичкой, в которой варилась, наливали в тарелки, получалось до самых краев. Мы с жадностью все поглощали и после примерно с час чувствовали сытую приятную сонливость, но потом снова и снова хотелось есть...

А на улице вовсю шла весна. Пели птицы, цвела черемуха, и ужасно хотелось есть. И Жан с Миколой уже не дергали нас за косы, а лежали головами на парте и тихонько мычали от голода. И только звонок на большую перемену поднимал их. Мы все вскакивали и бежали в столовку. Это небольшая хата, метров сто от школы. Бежали наперегонки. Хлопцы орали: «Лок-ша-на! Лок-ша-на-а!» и махали ложками, которые у всех были с собой.

На раздаче был наш любимый учитель Алексей Иванович Ена. Он умный и очень начитанный, к тому же все время шутит. Мы очень любили его шутки: даже есть не так хотелось, когда смешно.

А весна уже всю шумела молодой листвою, наливалась весенними травами, пела и восторженно орала голосами птиц и лягушек. И чем скорее готовилась к лету природа, тем острее мы чувствовали голод.

Мы ели нераспустившиеся ольховые сережки, лакомились нежными, чуть сладковатыми почками липы, выкапывали сладковатые луковички раста, сдирали с коры вишен «клей». А в двадцатых числах мая ученик шестого класса Вася Степенко нарвал в посадке незрелых жерделей и с голодухи поел их... Потом страшно мучился животом. Спасти не могли. На поминках были борщ, кукурузные лепешки и узвар из сушеных яблок и вишни. Мы наелись. И было очень обидно за Васю: он всего этого уже не мог есть, так и умер голодным...

У наших хозяев Озеровых было рядом с хатой пятьдесят соток земли. А полагалось каждой сестре иметь по пятнадцать соток, так что двадцать соток были ничейными, и земля зарастала бурьяном. На этой же ничейной земле был роскошный вишневый сад. Когда поспели вишни, я по просьбе Наташи их собирала, а она потом их быстро, чтобы никто не видел, относила себе в погреб. Ничейная земля – это «излишки», которые были почти в каждом дворе. Нам из этих излишков местные власти выделили пятнадцать соток, которые потом Наташа вскопала и засадила фасолью, луком и овощами. Наташа все делала так аппетитно, ловко, что я не могла удержаться, просила дать мне лопату или тяпку и работала тоже. Но, должно быть, неумело и очень смешно, потому что, глядя на меня, она весело смеялась и все повторяла: «Ой, Божечки, ой уморишь...» Зато, когда я легко залезала на деревья и заполняла ведерки «ничейной» вишней, она меня хвалила. Впрочем, немного вишни она велела оставлять на деревьях, «бо якщо прийдуть провиряты, тай побачуть що вишня є, то й усе в порядку» Ну а потом мы садились в тенечек, «шукали вошей» или читали письма от ее геологического мужа, женатого и детного москвича Ивана Садова. Наташа сколько-то лет училась в начальной сельской школе и могла читать напечатанное, но совсем не понимала написанного. Раньше, когда экспедиция вела изыскательские работы непосредственно в окрестностях Покровского, Садов жил вместе с Наташей в той самой комнате, где поселились мы. Потом, когда его посылали на участки, в Макеевку, Горловку, Славянск, Наташа приезжала туда же, работала у него помощником. Официально. И одновременно была признанной всей экспедицией неофициальной женой. Но потом, перед нашим приездом, Садова отозвали на несколько месяцев в Москву, и Наташа писала своему возлюбленному письма. Сначала она просила писать мою Бабушку, и письма были очень короткими и очень правильными, совершенно без любви. Потом письма по ее просьбе писала я. И тут Наташа не стеснялась: «Мий коханий, мий нижний, мий єдиний у цилім свиті...» А потом шли поцелуи. «Цилую твої губи, твої очі а тобі цилого, а головне того малєнького, того найкращого, того коханого...» Я сперва не поняла, кто этот маленький. Наташа мне объяснила: «Цє той, що у чоловіків проміж ног стоїть» «Висит, а не стоїть!» – поправила я Наташу. «Стоїть! Стоїть!» – настаивала Наташа...

Садова эти письма, видимо, вдохновляли на ответные чувства, потому что стал он писать чаще и наконец сообщил Наташе, что скоро его снова пошлют в Донбасс, и они увидятся. Но вслед за этим в экспедиции вспыхнул скандал: из Москвы пришло известие, что Ивана Садова, урколицего тцедушного мужичка, исколошматила его могучего сложения жена. Она же послала начальнику Фоменке Наташино любовное письмо со всякими недозволенными интимностями, написанное моим почерком...

Фома, так заочно звали в экспедиции начальника, вызвал «на ковер» мою маму, и та ужаснулась, какому влиянию со стороны вконец «испорченной» женщины Наташи Озеровой подвергается ее невинное и очень скромное дитя, я то есть. Знала бы она, что многие самые сексуально волнительные эпитеты, действующие на чувства Садова, этого старого козла, как его называла моя бабушка, были придуманы не самой Наташей, а мною! Естественно, самой Наташе эти ее – мои письма нравились. Забегая вперед, расскажу, что чувства геодезиста Садова под воздействием биття туплей с одной стороны и горячих Наташиных любовных при-

знаний с другой, разгорелись. Садов добился своего перевода в Донбасс. И примерно через три четверти года у помощницы геодезиста Натальи Озеровой родились очаровательные девочки-двойняшки.

Ну а моя мама с целью уберечь меня от влияния сексуальной Наташи буквально на следующий день после вызова Фомы переехала со мной и Бабушкой на новое место, называемое Куток, в хату чуть «тронутой» Марии Курочки. Куток – по-русски угол – представлял собой луг, образованный излучиной реки Горелый пенёк. В Кутке было всего восемь хат, и почти все их обитатели носили фамилию Курочка.

Хозяйка наша тетя Маруся Курочка, проживавшая одна в просторной хате-мазанке с широкой прихожей, которая делила все жилье на две половинки, была единственным потомком большой работающей украинской семьи.

Всю семью в тридцатые годы выгнали из их родной хаты и в чем были, с детьми и старой бабушкой усадили на тряские телеги и погнали на север. Юную Марию посчитали дурочкой: когда из стоявших в хате сундуков выхватывали расшитые рушники, спидницы, свитки, она сняла с себя свою любимую вышиванку, скинула с ножек новенькие чоботы и все это с детской улыбкой протянула ворвавшимся в их хату краснорожим дядькам... «Дурочку» не тронули. И еще оставили в хате доживать ее больного трясучкой старого деда, который когда-то служил в царской армии и за службу свою не единожды был награжден медалями и крестами...

В горнице, которую тетя Маруся отдала нам, по всем трем стенам висели старинные застекленные иконы, а в самом переднем углу горницы под иконой Богородицы с Младенцем красовалось раскрашенное большое деревянное яйцо – подарок самого царя Николая II. Иконы висели и на стенах Марусиной половины дома, которая была намного меньше нашей. В нашей комнате-горнице помещались три кровати – Мамина, Бабушкина и моя, было два больших стола, и широкая дубовая лавка вдоль противоположной от входа стены. Горница служила еще и конторой Маминой геологоразведочной партии. Придвинутый к лавке стол вечно завален был рулонами с геологическими картами, папками с описями месторождений и отчетами. Здесь же, за этим столом, Мама – начальник – принимала геодезистов, бурмастеров и рабочих с их проблемами, здесь же, когда мы оставались одни своей семьей, рулоны и папки сдвигали в один конец стола и ставили глиняные миски с борщом и кашей. А за вторым, небольшим столом лежали мамины тетрадки с ее творческими записями: набросками романа с красивым названием «Журавль в небе» и стихи, которые она писала в редкие свободные от работы часы и минуты. За этим же столом, придвинутым к окошку, смотрящему в сторону реки Горелый пенёк и большого заброшенного яблоневого сада, я делала свои уроки...

А по вечерам к нам приходили гости, которых никто не звал. Это были мамины ухажеры, которых она довольно успешно отшивала. Один из них запомнился мне особо. Высокий ростом, в сером плаще и широкополой шляпе, узколицый работник треста, имеющий отношение к экспедиции Фоменко (наверное, в качестве проверяющего). Все разговоры сводил он к тому, как плохо жить в нашей стране и как хорошо живут на Западе. При этом он откуда-то знал мамину подругу Люсю Ивинскую и спросил однажды Маму, где она сейчас. Мама знала, где и с кем, но сказала этому типу, что не знает, а Бабушка, когда он ушел, сказала, что это, наверное, подсланный провокатор.

Я уже знала, что это значит и чем может закончиться, и поэтому читала про себя «Отче наш» – молитву, которой научила меня тетя Маруся.

Вечером этот узколицый снова пришел и снова начал хаять нашу жизнь. А потом он упомянул Сталина. И тогда я пошла в атаку. «Сталин – наш вождь! Мы его любим! А кто Сталина хает – наш враг! Вы – враг!!!» – напустилась я на слюнвявого «Гостя». А тот ужасно побледнел и что-то лепетал, что он не враг... Бабушка, однако, сказала, что Эля – пионерка, и очень любит Сталина, и поэтому советует ему, незваному гостю, поскорее удалиться. И он

удалился, при этом не только от нас, но исчез и из Покровского. Бабушка меня похвалила, а мама сказала, что и она тоже любит Сталина.

А потом к нам стал приходить молодой бурмастер с деревенским пятиугольным лицом и глубоко посаженными честными глазами.



Бурмастер геологической партии Леонид Сергеевич Кулаков, Батя, 1948 г.

В начале сентября я в Покровском пошла в восьмой класс.

Ко мне за первую парту вместо Аллочки Гладковой посадили девочку по имени Даниэла, которую все мы звали Дуней, хотя на самом деле она назвалась Даней. Имя свое очень тихо сказала. Мы стали переспрашивать, а она молчала. Она вообще все время молчала. И с нами, и у доски. А начинали расспрашивать – плакала. Ее бы, наверное, в младший класс пересадили, но она отлично решала задачи, грамотно писала диктанты... А говорить не могла. Думали даже, что она глухонемая. Потом учитель по немецкому Алексей Иванович разобрался. Он ей сказал, чтобы на его вопросы она отвечала бы молча, кивком головы. Ты окончила семилетку? Вы в школе учили немецкий? У тебя по немецкому отлично? Ты – комсомолка? Ты хочешь стать учительницей? Только на эти два последних вопроса Даня отрицательно крутила головой. На остальные утвердительно кивала. «Ты хорошо все слышишь, – заключил учитель. А почему не говоришь? Не хочешь?» «Не могу», – очень тихо по-украински ответила Даня и залилась слезами...

Потом мы узнали, что ее с младшим братом и матерью, как и все их небольшое тихое селение, пригнали из Западной Украины со всем скарбом и скотиной. Их и еще несколько семей определили в колхоз Чапаево села Покровское. Остальные семьи – кого куда – распределили по району. На «военном деле» физрук, он же военрук, рассказал, что в Донбасс из Западной Украины уже не одно такое село переселили... Там, на Западной Украине, прячутся лютые враги советской власти, коварные и жестокие бандеровцы. Днем они как обычные люди живут, а по ночам убивают всех, кто за колхозы, за советскую власть... И даже не пойми за что убивают: детей, ни в чем не повинных людей, стариков. Местные их знают, но очень боятся. А человеку приезжему не понять, кто из них бандеровец, а кто просто житель. Военрук говорил, а Даня зябко куталась в большой цветастый платок и беззвучно плакала... А вскоре и мы все плакали, вся наша школа, все село. Пришло известие, что бывших десятиклассниц, Катерину и Нину, красивых, совсем еще юных, новоиспеченных учительниц украинского языка, посланных в села Западной Украины, убили бандеровцы...

Ну а Даня заговорила только еще через год. Она перестала вздрагивать от резкого стука, перестала бояться, что «хтось» подстерегает ее, когда она из школы идет. Она с ностальгией рассказывала о притулившемся к лесистой сопке родном селении, о неширокой быстрой речке с прозрачной водой и стайками форелей в ней, о ярких цветах на вершинах сопки... Она очень хотела и очень боялась туда возвращаться. Почему? Позже она открыла причину: там, в родном селе, бандеровцы прямо у них на глазах мучили их любимую учительницу истории. Учеников заставляли плевать ей в лицо. Один мальчик отказался – его избили так, что он умер. А учительницу увели и повесили на школьном дворе.

О том, что после войны еще велась война с бандитами бандеровцами, рассказывал нам также прибывший в том же году новый директор школы и он же учитель русского языка, бывший кавалерист, майор армии Доватора Буларов Николай Степанович.

Первые грезы любви

Среднего роста, поджарый, черноволосый, быстрый, даже стремительный в движениях, с мечтательно вдумчивым взглядом карих глаз под чернющими бровями. Худошавое и очень красивое молодое лицо. Ему еще нет тридцати. И у него пока еще нет жены. И этот факт вдохновлял наших молоденьких незамужних учительниц, они все тоже выглядели как на параде. А через несколько дней моя Бабушка отметила, что я совсем перестала лениться: каждый вечер наглаживаю свою школьную форму, пришиваю белые воротнички и нарукавнички... Ей думалось, что новый директор – очень строгий и заставляет нас быть аккуратными. На самом деле меня никто не заставлял, просто было очень приятно, когда Николай Степанович вызывал меня к доске и ставил в пример всему классу: Я старалась по русскому все-все учить только на «отлично». А бывший майор-фронтовик не только красиво читал новый материал – «Горе от ума», «Евгения Онегина», «Демона», он сам становился героем этих произведений: Чацким, Онегиным, Демоном... И я была во всех этих героев влюблена. И когда я писала сочинение о Татьяне из «Евгения Онегина», Бабушка, прочитав его, сказала, что моя Татьяна еще более страстная и более интересная, чем Татьяна пушкинская...

А в новогодние каникулы директор-учитель Буларов женился. Избранницей стала самая красивая и самая молодая из учительниц – историчка Мария Семеновна. Тоже и на нее, жену моего «Чацкого-Демона», распространились мои любовь и обожание.

Весь учебный год 8-го класса промчался, дивно просверкал и, переполненный самыми горячими и светлыми чувствами, остался в памяти моей навсегда.

Как и в прежние годы, лето перед девятым классом провела я у мамы и отчима Кулакова. Адрес экспедиции – полустанок Казахстан Алтайского края.

Железная дорога, на которой этот полустанок находился, проходила по самой границе между южным Казахстаном и горной частью Алтайского края. К югу от нас расположилась станция Шемонаиха, еще южнее – Алма-Ата, а к северу – Рубцовск, узловая станция, где у меня пересадка на Новосибирск. На самом полустанке всего два деревянных строения: вытянутый вдоль железнодорожного полотна дом с двумя крылечками, одно из которых вело в комнаты, где находилась семья начальника геологоразведочной партии, то есть моей Мамы и ее семьи – Бати (так я звала своего отчима) и братика моего Алешеньки, которому всего было девять месяцев отроду. С другого крылечка, что в самом торце дома, – вход в общежитие девчат, коллекторов и рабочих. А другое строение – маленький домик с палисадником – сторожка стрелочника. Оба дома стояли на Казахстанской земле, и из окон, если смотреть на запад, открывался вид на бескрайнюю, как море, степь. А с востока почти сразу же за железнодорожным полотном поднимались поросшие невысокой серой полынью холмы, переходящие в окутанные лиловой дымкой горы Алтая.

Днем, когда Мама и Батя уезжали на полуторке в места, где шли геологические изыскания, я сидела со светлоголовым братиком Лешей, который содержался в огромной бельевой корзине. Из нее он всеми силами старался выбраться.

А вечерами я могла гулять. Вечерами воздух наполнился запахом полыни и чабреца и дрожал-звенел от оглушительного цирюканья сверчков. Воздух казался густым: по нему хотелось плыть и лететь, особенно когда в огромном небе ярко сияли звезды и светила луна... Как же мне хотелось тогда, чтобы эту звенящую, дрожащую вселенскую красоту видели тоже Николай Степанович и его красавица жена Мария Семеновна. Они бы ходили по этим холмам, взявшись за руки, а я рядом с ними была бы самой счастливой на свете...

Время шло, и я как никогда хотела, чтобы каникулы поскорее закончились и начались бы уроки по русской литературе...



Эля с кошкой. Село Покровское, 1950 г.



Эльвира Филипович в новенькой ушанке и со своим рисунком, с. Покровское, 1950 г.

В отличие от прошлых лет, когда задерживалась у Мама на месяц и более, на этот раз я появилась в школе уже первого сентября. И... узнала, что Николай Степанович и Мария Семеновна уехали в Башкирию, на его родину.

Каким же скучным показался мне урок по русской литературе, который вела педагог со стажем и с грамотой от Артемовского РОНО, знающая свой предмет, добрая и справедливая на оценки и вообще хороший человек. У меня по русскому всегда было отлично. Учительница меня хвалила, но меня эти ее похвалы не волновали совершенно. Проходили «Войну и мир» Толстого, и я будто живьем видела князя Андрея. Это же он, Николай Степанович! Учительница очень хвалила мое сочинение, говорила, что образ князя Андрея у меня получился весьма выпуклым и романтическим. Князь Андрей – Николай Степанович – был со мной в тот учебный год постоянно. Был – и не было его. Я старалась его нарисовать. По памяти. Но получалось какое-то страшное с большими глазами неземное существо. Совсем не он! Бабушка мне посоветовала пока рисовать портреты с картин. Я рисовала красавиц.

Я абсолютно ничего не знала ни о нем, ни о Марии Семеновне, которая тоже стала близкой моей душе.

А в июне я снова поехала к маме в экспедицию. На этот раз в Нижний Тагил. Пересадка в Москве. Остановилась я у маминой подруги – геолога Анечки Китицыной. Знала я ее еще со своего детства в Покровском-Стрешневе. Была она высокая, стройная, красивая. Со временем пополнела, но стать прежняя, будто королева. А проживала она на улице Малой Пироговской, вблизи Новодевичьего монастыря, в деревянном домике с покореженными покатыми полами, с единственным окном в горнице, выходящем на улицу, по которой ездил трамвай номер 29. Из окна видны были только колеса трамвайные и только ступни идущих по тротуару пешеходов. А в самом домике кроме перекошенных сеней были две маленькие комнаты.

В одной, с окном на улицу, важно, весь заваленный сверху рулонами с геологическими картами, стоял шкаф, и напротив него – массивная кровать с деревянными резными спинками, где спала Анна Сергеевна. Другая комната, окошком в поросший лопухами дворик, была еще меньше первой. В ней помещался складной обеденный стол, и у стола под окошком стояла узкая коечка, где спала мама Анны Сергеевны, тщедушная, хроменькая, с детской улыбкой на постаревшем лице, добрая сердцем Елизавета Михайловна. И она, хорошо знавшая мою Бабушку и бывавшая у нее в гостях в Покровском-Стрешневе, предложила мне жить в ее комнате. Места много: можно или на столе постелиться, или сдвинуть стулья. А одеял разных полон чулан... Я очень обрадовалась: смогу посмотреть Москву. Однако сперва решила заком-постировать билет за три дня до отъезда и поехала на Казанский вокзал. У кассы, как всегда, толчея. Достоявшись до заветного окошечка, прошу кассиршу дать мне билет на такой поезд, чтобы Башкирию проезжали бы днем. «Вас будут ждать в Уфе?» Я в ответ что-то промямлила, и кассирша быстро швырнула мне билет, сказав, что в столице Башкирии поезд будет днем.

Снова в памяти моей ожили воспоминания: вдохновенный взгляд почти черных очей на худощавом лице, зачесанные назад густые черные волосы... Он самый интересный, самый благородный во всем мире – Чацкий, Онегин, князь Андрей... И он же Демон, такой страшный и такой влекущий... И мне вдруг показалось, что здесь, на Казанском вокзале, среди непрерывно движущейся в разных направлениях массы людей я вдруг увидела его собранную, летящую походку, его устремленный взгляд, зачесанные назад черные волосы. Я даже хотела крикнуть ему, но человек, напомнивший мне моего любимого учителя, тут же исчез, будто стал невидимым. Я огляделась вокруг и поняла, что стою у самого входа в ресторан. Даже не знаю зачем, зашла внутрь ресторана... А дальше процитирую запись из собственного дневника.



Эля Филипович, 16 лет. Сфотографировалась по просьбе тети Анечки Кיתיцной, 1951 г.

«6 июля 1951 г. ...Билет я взяла уже к вечеру. Мне еще раз показалось, что я вижу Николая Степановича, и еще раз убедилась, что ошиблась. ...Казанский вокзал очень красивый. Я осмотрела все залы и заглянула в ресторан. Я решила пройти к буфету, хотя денег не было... Вдруг меня

окликнули: «Эля!» Голос знакомый. Его?! Померещилось! ...Пошла дальше. Окликнули снова. Теперь уже в два голоса.

Николай Степанович и Мария Семеновна сидели за столиком, мимо которого я только что прошла. На их лицах радостное изумление. Я бросилась к ним... Потом сидела и что-то через силу жевала, хотя еще минуту назад была очень голодна. Я все удивлялась, радовалась, что это не мираж, что сидим мы за столом, и Н. С. говорит мне «Эличка» и ласково смотрит... Потом мы все втроем пошли гулять. Мария Семеновна, хрупкая, изящная, струнной походочкой впереди... А мы, будто пожилые, степенно сзади. У меня от нахлынувших чувств одышка сделалась, и я с трудом за М. С. попевала. Говорили мы о Покровской школе, об общих знакомых, о моем будущем. Прошли всю Горьковскую, были на Красной площади, гуляли по набережной и все не могли наговориться... Когда спохватились назад ехать, был уже второй час ночи, и Н. С. взял такси до Казанского вокзала. Оно стоило 30 руб. Мне было очень стыдно, что я не смогла за себя заплатить сама, хотя Н. С. даже и не заметил этого.

Мы сели на свободной скамейке: я – по правую руку от Н. С., жена его – по левую. Вскоре Н. С. и М. С. стали дремать. А мне спать совсем не хотелось. Н. С. наклонил голову, и на пол упала его соломенная шляпа. Я ее подняла и положила себе на колени. Я как очарованная гладила шляпу и ужасно хотела коснуться его самого, гладить его черные волосы... А М. С. дала мне сторожить свою сумочку, раз уж я не сплю. Н. С. сидел, глубоко опустив свою прекрасную черноволосую голову. Тихо сидел. Даже дыхания не было слышно... Я смотрела и смотрела на него. Я его вбирала в себя глазами, чтобы хватило надолго. Спящий, он ко мне слегка приник. Я ощущала его тепло и боялась пошевелиться. Я только и желала, чтобы ночь эта длилась и длилась...»

Утро наступило грохотом переставляемых ведер с водой и неслышными тычками обмотанной мешковиной швабры в ножки сидений и в ноги сидящих на них спавших. Разом все в огромном зале зашевелилось. Проснулись и мои учителя. Николай Степанович вслух, будто про себя, тихо произнес: «Как же выросла! Русская красавица...» А Мария Семеновна, взяв сумочку, достала зеркальце, все, что требуется для наведения марафета, и стала усиленно охорашивать свое и без того красивое лицо. Николай Степанович готов был снова идти гулять по Москве, если я соглашусь, но Мария Семеновна сказала, что ей необходимо полежать, поспать, умыться... Узнав, что поезд мой только через два дня пойдет, Николай Степанович предложил встретиться сегодня же днем в 12 часов. А место встречи я сама назначила: музей изобразительных искусств, который в то время назывался Музеем подарков Сталину. Я уже там была позавчера, и мне очень было там интересно.

На Малую Пироговскую к Кितिцыным я приехала рано: Анна Сергеевна еще не уходила на работу. Я у нее спросила, можно ли мне пригласить к ним своих двух любимых учителей, чтобы отдохнуть и попить чаю. Она ответила, что, конечно, можно и еще отругала меня за то, что не пригласила их на ночь: матрацы и одеяла в доме есть.

Я от радости съела целых две тарелки супа и каши, проглотила две очень вкусные котлеты, выпила крепкого чаю, чтобы не спать, и уснула прямо за столом...

У входа в музей изобразительных искусств я была без пяти минут 12. Сразу же побежала в конец очереди. Она длиннющая... Оттуда, постояв какое-то время, помчалась к турникету, где запускали внутрь: может, они именно сюда, к самому входу придут... Прошло минут пять. Снова побежала в конец... Оттуда – опять ко входу... Так минуло два часа. Может, они прошли внутри, а я не заметила?

Хожу по залам с бесчисленными и очень интересными и красивыми подарками Сталину. Узорчатые ковры, часть которых с портретами вождя. Вышивки гладью и крестиком, и на них тоже портреты Сталина. И огромное количество шелковых стеганых халатов и мягких домашних тапочек... А сколько картин и рисунков... И замечательное рисовое зернышко, на которое надо смотреть в микроскоп, чтобы увидеть многословное приветствие Славному Вождю и Генералиссимусу. Однако я на подарки уже не гляжу, а смотрю на бесконечный поток проходящих людей. И вдруг увидела его! Черные волосы, зачесанные назад, четкие, изящные движения. Я даже назвала его имя-отчество... Потом забежала вперед и увидела, что не он. Потом так же «увидела» их двоих, и снова это были совсем другие люди. И так еще и еще раз... Домой к Кितिцыным возвратилась уже вечером... От досады чуть не плакала.

Нижний Тагил оказался ужасно скучным, некрасивым и неприятно пахнущим сероводородом.

Я и Жан

И снова школа. Последний год... Мои одноклассники стали мне совсем родными. Наш десятый из всех выпусков был самым большим: девятнадцать человек. Хлопцы, даже самые мелкие, вдруг выросли, раздались в плечах, стали с интересом поглядывать на девочек. И уже было несколько пар, о которых знали, что готовятся ехать поступать в институты вместе. В основном это были Харьков и Сталино (теперешний Донецк). Несколько девочек собирались ехать в Киевский пединститут. А мы с Жаном мечтали поступать в Одесский университет, он на физико-математический факультет, а я – на литературный или факультет журналистики. Любовь мы не крутили: у меня не было в душе того пламени, что до сих пор меня обдавало жаром изнутри, когда вспоминала я нежно-мудрый взгляд темно-карих глаз из-под чернящих бровей Николая Степановича. Жан мне нравился как человек: добрый, красивый и умный. У него, как и у меня, по всем предметам были пятерки. Учителя нас называли хорошей парой, считали, что мы обязательно будем одной семьей. Мы с Жаном, однако, о любви никогда не говорили вообще, хотя я знала, да и девочки говорили, что нравлюсь ему. Тоже и моей Бабушке он очень понравился, когда однажды довез меня прямо до хаты на раме своего велосипеда. Бабушка тогда накормила нас лапшой со шкварками и сказала Жану, что будет рада видеть его у нас. А потом он познакомил меня со своей бабушкой, сухонькой старушкой с узким изморщиненным лицом и печальными глазами, которая угостила меня вкусным грушевым узваром и кукурузными лепешками. В маленькой горнице стояли деревянная, во всю стену, лавка и приставленный к ней накрытый темной скатертью стол. Под столом у Жана была фотолаборатория: фотобумага 9 на 12, красный фонарь, ванночки для проявителя и закрепителя. Фотоаппарат был старый, еще отцовский, со стеклянными негативами. У меня – почти такой же. При красном свете Жан выглядел еще красивее. Он то и дело молча взглядывал на меня, и мне казалось: вот-вот поцелует. Тогда бы и я. Но так и не поцеловал...

А потом начались экзамены. На математические письменные нас сажали в разные ряды, так, чтобы один из нас решал первый вариант, а другой – второй. Оба мы шли на медаль, я – на золотую, Жан – на серебряную.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.